

ПРОТОИЕРЕИ  
*Александр Мень*

## БИБЛИЯ И ЛИТЕРАТУРА

### ЛЕКЦИИ

Книга подготовлена к печати и издана Фондом имени Александра Менья в 2002 г. по заказу Храма св. бесср. Космы и Дамиана в Шубине, отпечатана в типографии Центра «Путь, Истина и Жизнь» тиражом 10000 экз.

Сканирование - Т.А. Зибарева, вычитка текста - В.Н. Распопин.

Лекции, читанные о **Александром Менем**, по-видимому, в конце 1980-х гг. для семинаристов, со временем не утратили актуальности и, на наш взгляд, принесут немалую пользу как преподавателям словесности, так и старшеклассникам. Текст лекций приводится в полном соответствии с тем, как они опубликованы в означенном выше издании. Альбом иллюстраций, сопровождающий нашу публикацию, составлен на основе оформления следующих изданий: *Масленникова З.А.* Жизнь отца Александра Менья. М.: Захаров, 2002; *Мень А., протоиерей.* Спаситель. / Илл. Александра Смирнова. М.: Фонд имени Александра Менья, 2005.

### Содержание

Библия и апокрифы древности и средневековья  
Библия и древнерусская литература  
Библия и литература XVII века  
Библия и русская литература XVIII века  
Библия и русская литература XIX века  
Беседа первая  
Беседа вторая  
Библия и западная литература XIX века  
Библия и литература XX века  
Беседа первая  
Беседа вторая  
Беседа третья

### **Библия и апокрифы древности и средневековья**

В мировую литературу всегда оказываются вовлечены самые важные, наиболее волнующие людей темы, сюжеты и образы. Поэтому неудивительно, что искусство и литература многократно обращались к Священному Писанию. И мы с вами сделаем лишь очень беглый обзор этого замечательно интересного и во многом поучительного процесса: как преломлялась Библия в творчестве поэтов, писателей, романистов, неизвестных и великих, знаменитых.

Самые ранние попытки художественно интерпретировать Библию, как бы дополнить ее беллетристическим образом, мы называем апокрифами. Слово апокриф имеет двоякое значение. С одной стороны, это слово означает книгу «спрятанную», «потаенную». Почему возникло такое название для этих произведений? Потому что они очень рано стали восприниматься как неортодоксальные, гонимые, неудобные тем или иным церковным направлениям; поэтому их уничтожали, а те, кому они нравились, их прятали, и получалась «потаенная» литература. Но есть и другая причина этому названию. Значительная часть апокрифов была создана людьми, которые предполагали, что в Библии, которую мы читаем, запечатлено лишь общенародное, так

сказать, экзотерическое учение, а эзотерическое — тайное, глубинное учение — спрятано в особых откровениях, запечатленных вот в этих книгах, которые они называли апокрифами. В Древней Руси апокрифы назывались «отречёнными книгами».

Поразительна живучесть этой литературы. Трудно даже поверить, что апокрифы, созданные за десятилетия и даже столетия до нашей эры на древнееврейском, арамейском и греческом языках, были потом переведены на армянский, грузинский, эфиопский, жили — имели долгую жизнь — в Древней Руси, через тысячелетие! Эта литература продолжала свое существование в самых разных культурах и цивилизациях.

Апокрифы стали появляться и в более позднее время. Мы знаем апокрифы XIX, XX вв.: «подложные» книги, те, которые выдавали себя за древние писания, которые их сознательно имитировали. Чтобы не заблудиться в этом море литературы, разделим все это на ясные, четкие рубрики.

Дохристианские ветхозаветные апокрифы — это книги, которые создавались преимущественно анонимными, неведомыми для нас авторами. Первые древние ветхозаветные апокрифы появляются около 190 — 170 г. до Р. Х. Многие апокрифы погибли, многие сохранились до нашего времени только во фрагментах, некоторые уцелели лишь в более поздних переводах, но все-таки это довольно богатая литература.

Что же представляют собой ветхозаветные апокрифы? Это книги, которые пытаются дополнить библейское сказание, развернуть то, что как бы сокрыто и спрятано в Библии. Тут работает и человеческое воображение, и глубокая любознательность, и какие-то новые доктрины, которые пытались себя как бы присоединить к потоку библейского учения. Достаточно бросить взгляд на некоторые из этих апокрифов. Перечислять их все я не буду. Важнейшие из них — апокрифы Еноха (это цикл апокрифических книг), «Книга юбилеев», «Завещание двенадцати патриархов», «Псалмы Соломона», «Кумранские псалмы». Множество апокрифов было найдено на берегах Мертвого моря в пещерах Кумрана и других поселениях древних аскетов ессейского типа.

Что такое апокрифы Еноха? Древний библейский писатель, который создал, так сказать, «построил» Книгу Бытия, хотел показать людям связь между поколениями и народами с помощью традиционного метода генеалогии (родословия). Этот писатель взял одну из древнейших генеалогий, которая имелась в Месопотамии, и построил на ней связь поколений допотопного мира. Среди этих предков седьмым именуется Енох. О нем сказаны загадочные слова — что Бог «взял его от земли». В поисках ответа на эту загадку толкователи обратились к древним легендам Месопотамии, и выяснилось, что там один из царей, так же седьмой царь древней генеалогии, был вознесен в чертог бога Солнца и ему было показано строение Вселенной. Вот этот древний образ путешественника в космос и отразился в образе библейского Еноха. Но ветхозаветный автор не вдаётся в эти подробности, он как бы походя упоминает, что такой-то человек имел удивительную судьбу. Все! Это деталь, она лишь проскакивает в повествовании. Иное дело — автор апокрифа.

Апокрифов Еноха имеется несколько. Наиболее древний называется «эфиопским», потому что сохранился в эфиопском переводе. Но он также имеется и в армянском, греческом и других переводах. Есть краткий славянский апокриф Еноха, который сохранился в древнерусской версии.

Мы обратимся к этой славянской версии. О чем она говорит? Она говорит именно о том, о чем повествует древняя вавилонская легенда: праведный Енох поднимается Богом куда-то на седьмое небо (весь мир построен как бы в виде ступеней или концентрических кругов; заметим, что это напоминает нам вавилонские башни с их семью ярусами). И там он видит структуру Вселенной. То есть то, что Библия не хотела давать людям, в апокрифе дается.

Библия не хочет давать человеку познание научное, рациональное, потому что для этого познания человеку достаточно иметь разум и опыт. Для этого не нужно Откровение, для этого не нужно Священное Писание. Для этого нужны естествознание и другие отрасли науки. А автор «Книги Еноха» хочет (это одна из ранних попыток) превратить это восхождение древнего человека на небо в некоторого рода небесную космическую географию. Там излагается устройство семи небесных сфер. Енох созерцает и ангелов, и звезды, видит, где праведники, где

грешники. Таким образом, енохическая литература является предтечей Данте и других средневековых сказаний о загробном мире.

Но я уже подчеркнул, что эта любознательность идет вразрез со Священным Писанием. И поэтому не случайно и не удивительно, что книга, которая выдавалась за произведение древнего Еноха (а кто тогда мог отличить древнее от нового — и сейчас-то историки не всегда могут разобраться, а тогда люди обладали значительно меньшим критическим чутьем), была отвергнута. Не потому, что она показалась анахронической или исторически сомнительной, а потому, что она входила в те области, которые Священное Писание обходило. Это была устаревшая космология, устаревшая космография, которая представляет для нас теперь только некий ретроспективный интерес.

К тому времени канон Священного Писания был сформирован уже почти полностью. Первые пять книг Библии — Тора, или Закон, или, по-славянски, Пятикнижие, — уже были твердо зафиксированы. Книги пророков, в том виде, как они существуют, тоже были канонизированы. Но третья часть — Агиографы, или Писания Мудрецов, куда входит и Псалтирь, и другие книги (мы их в церковнославянской традиции называем «Учительными книгами»), — этот сборник еще формировался, и апокрифы претендовали туда войти. Но они не были туда допущены, и это вовсе не придирка слишком щепетильных книжников, а некое таинственное чутье, которое точно определило, чему не надлежит быть в Священном Писании.

А вот еще одна тема из Книги Еноха, но уже другой, так называемой «эфиопской» (напомню, что книга была написана на арамейском или еврейском, но мы имеем ее в эфиопском переводе). Это тоже примерно II — I вв. до Р. Х. Там дается беллетристическое толкование одного странного места из Книги Бытия, о котором я уже рассказывал. В 6-й главе Книги Бытия, когда говорится о катастрофе человечества, о его нравственном падении, сказано, что ангелы, сыны Божии, полюбили дочерей человеческих. И от брачного союза между ними родились гиганты, исполины. Эти исполины создали цивилизацию, которая оказалась настолько гнусной, что в конце концов потоп ее разрушил. Кратко сказано, всего несколько строк. И уже тогда людей волновало, что же это за таинственные сыны Божии, которые пришли к дочерям человеческим? (Когда мы с вами будем говорить о литературе XIX в. и Библии, мы коснемся мистерии Джорджа Байрона «Небо и Земля», где драматически интерпретируется этот рассказ в свете и Библии, и, главным образом, Книги Еноха.)

Книга Еноха пытается дать свой ответ на извечный вопрос о начале зла, о его первопричине: кто первый захотел стать спиной к Богу? Ведь зло — это не какой-то предмет, какое-то начало, какая-то стихия; зло — это когда существо, имеющее волю, поворачивается от жизни к смерти, от бытия к небытию, от добра к противлению. Где начало? Библия говорит об этом всегда очень коротко, очень скупно... И, наверное, это не случайно. А вот автор Книги Еноха (эфиопской) рассказывает нам целую эпическую историю о том, как ангелы, небесные существа, стали спускаться на землю, учить людей магии, учить их выплавлять железо, открывать естественнонаучные секреты. Они полюбили женщин, вошли в контакт с людьми. Что-то подобное Прометею есть в этих сынах Божиих, которые как бы похитили с неба огонь, принесли на землю, чтобы облагодетельствовать людей, но вместо этого научили их злу — потому что сама их воля была направлена на нарушение божественной заповеди. Начало магии и есть источник зла, грехопадения человечества. Так рассказывает нам Книга Еноха.

В апокрифических книгах Ветхого Завета колоссальное напряжение эсхатологии, колоссальное ожидание конца света! Это было время, когда мир, подобно сегодняшним дням, ждал мировой катастрофы. Думал, что история заканчивает свои круги, что течение истории кончилось. И возникают целые поэмы: «Вознесение Моисея», «Апокалипсис Баруха», «Книга Адама и Евы», — все они говорят о том, что человек оказался совершенно непригодным творением Божиим и скоро все закончится, разрушится и восторжествует только правда Божия.

В этой апокалиптической поэзии есть много волнующего, много подлинного предчувствия того, что скоро наступит новая эра. И ведь, действительно, приближалось явление Христа! Но они представляли себе это в виде каких-то грозных катаклизмов. И вся эта апокалиптическая литература волновала народ, вызывая в нем ожидание страшных дней конца.

Но произошло совсем иное: явился Господь, не потрясая небо и землю, а пришел, как

предсказывали пророки, «не имея ни вида, ни величия», не действуя насилием, не привлекая ложными или просто эффектными чудесами. Наступает эпоха Радостной Вести — Благой Вести евангельской.

Подобно библейским книгам, новозаветные книги написаны с такой же лаконичностью, с таким же целомудрием, такой же осторожностью. И мы не найдем в описаниях смерти Христа возгласов народного поэта, который бы сказал: «О Ты, умирающий на древе...». То, что мы находим в народной поэзии, в древнем эпосе, — ничего этого нет. Сухо, строго, почти протокольно описывается распятие, смерть Христа. Никаких украшений, никаких преувеличений, никаких попыток проникнуть за завесу непостижимой тайны.

Войдя сегодня в любой храм, вы увидите за престолом в алтаре икону Воскресения. Эти иконы появились с ренессансного времени, когда художники стали изображать воскресшего Христа. А ведь в древности Его не изображали. Потому что это была тайна! И она остается тайной. Ни один из евангелистов не изобразил Христа воскресшего. Это очень важно. Древнерусские иконописцы всегда дают нам символическую картину сошествия во ад, но не воскресение, не выход Христа из могилы — так, как мы находим это в западном искусстве, а потом в русском искусстве нового времени: разверзся гроб, Христос выходит из гробницы. Это натуралистическое изображение далеко отстоит от бережности евангельского отношения к тайне.

Но не такими были апокрифы. Апокрифы, повторяю, создавались любознательностью, воображением, творчеством людей.

Нередко в антирелигиозной литературе, и вообще в исторической литературе, можно найти следующие замечания: что Церковь сурово расправлялась с раннехристианскими Евангелиями, апокрифами, уничтожая их и отбирая только те, которые соответствовали ее взглядам. В какой-то степени это верно. Да, отбирали. И отбирали то, что соответствовало. Но давайте посмотрим, что же получилось в результате этого отбора.

Вот перед нами апокрифические Евангелия. Они все-таки сохранились. Более того, они бесконечное количество раз переводились почти на все древние языки, на все языки, на которых говорили в Средние века. Весь цивилизованный мир Старого света читал эти апокрифы на своих языках! В библиотеке Соловецкого монастыря ученые еще в прошлом веке нашли огромное собрание этих апокрифов, и оказалось, что кроме ветхозаветных апокрифов, о которых я уже говорил, там масса новозаветных, написанных в первые века христианства. Тех самых, которые назывались «отреченными», которые считались неканоническими, считались псевдописаниями. Однако их любили и сохраняли. Потому что это была литература, древняя художественная литература.

Самое раннее из них — Евангелие Иакова. Его иногда называют протоевангелием, потому что ученый, обнаруживший эту книгу, считал, что это Евангелие самое древнее. Евангелие Иакова написано в Египте, по-видимому, в начале или середине II в. Во всяком случае, существует египетская рукопись этого Евангелия, которая относится к 200 г., а может быть, и ранее.

О чем повествует эта книга? О том, о чем молчат евангелисты: о юности Девы Марии, о Ее родителях — Иоакиме и Анне (Евангелия ведь не называют имен Ее родителей). Рассказывает о том, что Иоаким и Анна были бездетными, а это считалось тогда знаком Божьего гнева. И вот однажды Иоаким пошел в храм приносить жертву вместе со всеми, а его оттолкнули и сказали: «Ты последний грешник, у тебя и детей нет». И он настолько огорчился этим, что не вернулся домой, а пошел в пустыню, сидел и плакал там. И тогда ему явился ангел и сказал: «Не плачь, потому что у тебя родится дивная Дочь». Слух об этом событии в храме дошел до Анны, она была дома. Убитая горем, она вышла в сад, и тут (а была весна), как назло, перед ней Дерево, а на дереве гнездо, а в гнезде — птенцы, и птицы их кормят. И она сказала; «Господи! Даже птица имеет своих детей, а я — бездетна!» И вот, когда она плакала, явился ангел и сказал: «Анна, не плачь! Ваша молитва услышана, терпение ваше вознаграждено: у вас родится Дочь, вы назовете Ее Марией. Она будет самой великой и прекрасной из всех! Вы должны посвятить Ее Богу».

И рождается у них девочка. Называют Ее Марией. И отдают Ее в храм. (Согласно апокрифу, при храме тогда существовало что-то вроде монастырей для девочек. Ничего этого не было в истории, это беллетристика, но беллетристика, которая пыталась увидеть за Евангелием то, о

чем там не сказано.) Причем, когда родители подвели Ее к ступеням, ведущим к зданию храма (Она была трехлетним ребенком), оттуда вышел священник Захария. И девочка, вместо того чтобы побежать от чужого человека, поднялась по ступенькам к нему навстречу. Он Ее взял и, по велению Божию, повел внутрь святилища, куда никто, кроме священнослужителя, никогда не входил. А потом ввел Ее в Святая Святых, где обитал невидимо Дух Божий, где некогда стоял Ковчег Завета, — за завесу. Конечно, простой священник не мог туда войти: первосвященник входил туда только раз в год; и, конечно, он не мог туда никого ввести. Но для нас это неважно. А важен смысл легенды. Потому что Дева Мария является как новый Божественный храм! И Она уже Сама становится Святая Святых! Она входит туда, потому что Она имеет право, ибо Она — будущая Мать Избавителя.

А потом Ее оставляют при храме, где Она расшивает драгоценные завесы. И однажды Ей является ангел, и совершается тайна Благовещения: ангел возвещает Ей, что у Нее должен родиться Сын по имени Иисус, Который принесет спасение миру. Но Она должна выйти за кого-то замуж, чтобы не быть в глазах людей униженной. Кто-то должен стать нарицаемым отцом Ее будущего Ребенка. И вот священник собирает народ, и люди решают, кто же это будет. И, по древнему обычаю, как бы мечут жребий — ставят посохи. И, как в сказании о Моисее и Аароне, посох плотника Иосифа, старца из Назарета, расцвел. Из сухого дерева появились живые побеги. Он-то и стал мужем Марии, хотя у него были взрослые Дети, и среди них — Иаков, от лица которого ведется это повествование.

Эта история наконец насытила и любопытство, и воображение, и желание заглянуть туда, в эту тайну, в которую евангелисты нас не пустили. Здесь работало воображение людей. Это литература, которая потом отразилась на другой огромной литературе — на нашей древней церковной православной поэзии и потом на всей христианской поэзии Средних веков. И, наконец, на искусстве. Потому что те из вас, кто помнит произведения Дионисия, Джотто и многих других мастеров, знают, что они шли по той канве, которую им подсказало апокрифическое Евангелие Иакова. Более того, наш праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы построен на этом апокрифе. Пусть он и не принят Церковью в число Писаний как произведение богодухновенное и достойное доверия, но это была не осужденная книга, а книга, являющаяся частью христианской литературы, частью христианской культуры в широком смысле слова: включая богослужение, поэзию, живопись, пластику (есть немало средневековых скульптур на эту тему).

От Евангелия Иакова перейдем к другому Евангелию, которое называется Евангелие Фомы Израильянина или Евангелие Фомы — израильского философа. Оно тоже было написано в Египте около II в. после Р. Х. И тоже стремилось заглянуть туда, куда евангелисты нас не особенно пускали, — в детство Иисусово, угадать, увидеть, каким Он был. Как сказал один философ, каждый человек есть дитя своего детства. Один писатель сказал, что все мы в конце концов возвращаемся к своему детству. То, что в нас закодировано изначально, в детстве, то, в общем, с нами всегда и будет. И поэтому так интересно, так важно было узнать: каково же было детство Самого Христа? Так манила эта загадка, эта тайна! Каким Он был?

Но, увы, писатель, создавший книгу-Евангелие Фомы-философа, обладал, по-видимому, воображением не возвышенным. Перед нами появляется отрок очень жестокий, превозносящийся перед своими сверстниками. На каждом шагу он творит чудеса, иногда совершенно нелепые. Например, в субботний день, который считался днем покоя, отрок Иисус лепит на берегу ручья из глины птичек. И когда ему старшие говорят, что это безобразие, что он нарушает закон, Иисус хлопает в ладоши и эти глиняные птички улетают. Неоднократно он очень сурово наказывает своих обидчиков или тех, кто, как ему показалось, его обидел: один засох, у другого засохла рука, третий упал мертвым на месте. Все в Назарете были терроризированы этим отроком. Автору этого, надо сказать, весьма популярного, к сожалению, произведения не приходило в голову: почему же жители Назарета были так потрясены, когда Господь Иисус вышел на проповедь! Почему они сочли Его безумным и хотели скрутить Ему руки и увести Его? Почему они не хотели верить Ему, если Он с детства поражал всех Своими чудесами? Очевидно, автор книги над этим не задумывался. Ему хотелось видеть, что Христос всегда умел за Себя постоять и, когда Его обижали сверстники, Он мог им так ответить, что от них пыль оставалась. Все это

говорит не о Христе, не о Евангелии, а о характере этого писателя — как каждое произведение, естественно, связано с душевным миром его автора. Но, по-видимому, такого типа душевный мир — не редкость, иначе эта книга осталась бы незамеченной или, по крайней мере, не дожидаясь бы до нашего времени. А ее переписывали, переводили, распространяли по всему миру в те догуттенберговские времена, так что она дошла и до Кавказа, и до Руси, и до нашего времени. Более того, с нее писалась масса всевозможных подражаний. Было много Евангелий детства, но все они доверчиво повторяли сказки этого первого Евангелия Фомы.

Подчеркну, что под таким же названием — Евангелие Фомы — была другая книга, в которой содержались древние изречения Христа. Это произведение совсем иного типа. Появляются и другие книги, в которых мы находим сборники изречений Христа. Но это не совсем беллетристика. Это уже серьезные притязания дополнить Евангелия. И дополнить не воображением, не художественными, в кавычках, подробностями, а какими-то серьезными, этическими, доктринальными моментами. Так появляются Евангелие Фомы, Евангелие Филиппа, Евангелие истины и множество других Евангелий.

Вероятно, некоторые из вас хотят спросить, существует ли все это в русском переводе. Существует. Эта литература изучалась не только за рубежом, в России тоже были специалисты по апокрифам. Ветхозаветные апокрифы изучал протоиерей Александр Васильевич Смирнов из Казани; новозаветные апокрифы выходили в переводах человека, укрывавшегося под псевдонимом или эмблемой «Вега» (это примерно период Первой мировой войны); известный специалист по древнерусской литературе Иван Яковлевич Порфирьев собирал и издавал древние апокрифы, которые находил в библиотеках монастырей. В настоящее время апокрифы переводит Сергей Сергеевич Аверинцев, наш известный замечательный историк культуры; новозаветные апокрифы готовит к изданию Ирина Сергеевна Свенцицкая, доктор исторических наук. Пока отдельные тексты напечатаны в журнале «Наука и религия», который в значительной степени изменил свой прежний заливчатый и разоблачительный характер и стал печатать более объективную информацию о культуре и религиозной жизни. Там уже напечатано несколько апокрифов. К тому же Свенцицкая написала книгу «Тайные писания древних христиан», где есть очерк о новозаветных апокрифах. Эта книга вошла в ее труд «Раннее христианство», который вышел в 1987 г. Так что любой из вас, кто пожелает, может ознакомиться с основными апокрифами в русском переводе.

Должен подчеркнуть, что, когда ученые стали сравнивать изречения Христа в Евангелии с теми, что находятся в этих сборниках изречений (их называют «Логии», что значит «Слова»), то оказалось, что в них нет ничего качественно нового: в большинстве случаев это явно вторичная литература, перепевы того, что уже есть в Евангелиях. Встречаются только отдельные яркие изречения. Например, Христос в одном из таких Евангелий говорит: «Мир — это мост», то есть через него надо пройти. Или Он говорит: «Кто близ Меня — близ огня, но кто далек от Меня, — далек и от Царства». Слова хорошие. В истории с богатым юношей (я надеюсь, она знакома вам всем) апокриф дополняет евангельский текст. Когда богатый юноша говорит: «я соблюдал все правила закона», Иисус ему отвечает: «ты в своем дворце живешь, а бедные люди, дети Авраама, живут в нищете, и ты считаешь, что соблюдаешь все заповеди? Иди, раздай все нищим и следуй за Мной как праведник». Это поворот, действительно, может быть, взятый из древнего устного предания. Эти Евангелия изречений важны именно потому, что в них мы можем найти отголоски древних преданий (эти тексты все-таки очень древние).

Известный русский писатель Дмитрий Сергеевич Мережковский, автор нашумевшей трилогии «Христос и Антихрист», знаменитой работы «Лев Толстой и Достоевский», человек, сочинения которого перед революцией насчитывали уже свыше двадцати томов, к сожалению, на долгое время спрятанный от нашего читателя (а сейчас, я надеюсь, он снова вернется в нашу литературу), в начале 30-х гг. написал большую книгу о жизни Христа «Иисус Неизвестный». Он тщательнейшим образом (а это был человек огромной культуры и знаний) исследовал эти изречения Христа из апокрифических Евангелий и пытался сделать что-то неведомое. «Иисус Неизвестный» — это как бы новое лицо Христа через апокрифы. (Надеюсь, мы с вами еще доживем до того времени, когда многие из вас смогут прочесть эту книгу. Она издана в Белграде в 1932 г. очень небольшим тиражом и больше не переиздавалась.).

Попытка не удалась. Не удалась она потому, что наши четыре канонических Евангелия бесконечно, я бы сказал, абсолютно превосходят всю апокрифическую литературу вместе взятую. Какой литературный вкус, какое критическое чутье, какие научные данные могли руководить церковным сознанием того времени? Ничего этого не было! А было действие Духа, который безошибочно подсказал им, что является бессмертным.

Один из крупнейших ученых, который исследовал апокрифы, писал с удивлением: непонятно, как такие литературные плевелы могли расти почти одновременно с нашими Евангелиями! Уникальность новозаветной литературы — подлинной, канонической, — уникальность Евангелий еще яснее предстает перед нами, когда мы сравниваем их с этой околоевангельской, парабиблейской литературой тех времен.

Конечно, многое создавалось не просто от графоманского зуда или от желания беллетризировать ситуацию, как-то представить ее более конкретно. Были и глубокие идейные мотивы. В то время, в конце I — начале II вв., в христианстве и вокруг христианства появились многочисленные гностические теософские учения. Их обобщала, соединяла, при всей их разнообразности, одна идея: что материя, плоть, природа, мир — это все от дьявола. От Бога только Дух, и вот гностики (они называли себя гностиками, «знающими») и начали перекраивать и переписывать Евангелия заново, на свой лад. В древнейших апокрифических Евангелиях Страстей мы читаем, что Христос страдал на кресте, но это только казалось — потому что Он не страдал. У Него не было плоти, это только казалось! И вообще, говорил один из гностиков II в., Маркион, Он не рождался, как рождаются все дети: Он просто сошел с неба в город Капернаум в 15-й год правления Тиберия. И чтобы это доказать, Маркион просто отрезал первые две главы Евангелия от Луки и начал с третьей, с таких слов: «В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря вышел Иисус...» Значит, не надо плоти, не надо жизни, не надо истории, не надо предыстории, не надо Ветхого Завета, а только проповедь Духа — Духа, Который себя потерял, блуждая в материи, и надо вернуть его обратно. И вот этот гностический Христос с призрачной плотью, с призрачным страданием, который пришел в мир только для того чтобы открыть людям, что в этом мире вообще не стоит жить, а лучше как можно скорее его покинуть через духовное созерцание, — Он-то и является главным героем большинства апокрифических Евангелий.

Некоторые из них звучат красиво. Некоторые очень напоминают наши канонические Евангелия. Но апокрифы — не соперники им, потому что гностические Евангелия все главное берут из наших канонических, но легким поворотом пера (талантливым, я скажу, поворотом) настраивают эти изречения на другую волну. Вместо Богочеловеческого Святого явления в этом обычном мире — призыв к бегству, призыв к развоплощению! Христианство, Евангелие, утверждающее инкарнацию, воплощение божественного в природе, здесь подменяется развоплощением, уходом. И тот факт, что эта тенденция продолжала играть огромную роль в истории литературы, в истории Церкви, в истории европейской цивилизации, объясняет нам, почему эта литература не только сохранилась, а была столь популярна. Ибо, когда гностики исчезли как организованные группировки, им на смену пришли организации Другого типа — альбигойцы в Европе, манихеи Персии, павликиане в Болгарии, волхвы в Древней Руси. Не думайте, что волхвы — это просто древние маги и дикие язычники. Нет они были дуалистами, они усвоили манихейское учение, взятое из Болгарии (там оно называлось богомилством). Ведь вы знаете, что христианство на Руси очень многое заимствовало из Болгарии — не только из Греции, но и из Болгарии. Но оттуда же пришло и дуалистическое мирозерцание, отрицающее плоть и мир. И вместе с этим отрицанием шли вот эти тексты — шли, находили своих переводчиков, внимательных трудолюбивых переписчиков и многочисленных читателей.

Сегодня мы можем сказать, что апокрифическая литература является ярким и интересным, волнующим эпизодом в истории духа. От тех древних битв, когда за 170 лет до Р. Х. люди Ветхого Завета стремились сохранить свою святыню перед лицом наступающей цивилизации эллинизма, до того периода, когда соблазны дуализма, спиритуализма пытались проникнуть в недра христианства и увести его со столбовой дороги, — все эти духовные столкновения, духовные поиски, духовные проблемы так или иначе были отображены в апокрифической литературе.

Я еще раз подчеркиваю, что апокрифы, созданные уже сознательно в новое время, я здесь не упоминаю. Я буду говорить о них тогда, когда мы будем касаться XIX и XX веков. Я говорю сегодня о древних апокрифах. Они есть создание культуры. Они отражают только сознание, поиски, фантазию людей. И когда мы ставим их рядом с каноническими Евангелиями, мы видим, что в этих апокрифических Евангелиях есть и история, и авторские особенности, и элементы авторского воображения, и язык. Но они — несравнимы. Ибо в отличие от апокрифов, которые отразили историю человечества, настоящие четыре Евангелия отразили Христа, отразили Богочеловека, отразили тот свет, который идет от Него. И поэтому они оказались настолько непохожими, настолько превосходили всю ту литературу, которая как бы копошилась вокруг них. Они подлинны! Гете говорил, что для него Евангелие подлинно потому, что в нем, как солнце, светит образ Христа. В апокрифах он так не светит, или свет этот очень приглушенный, очень затемненный.

Вот почему, дорогие мои, когда мы с вами из любопытства или в поисках каких-то действительно сокровенных знаний, какого-то тайного христианства (сейчас часто говорят об эзотерическом христианстве) начинаем обращаться к этой литературе, мы должны помнить, что эта литература — только памятник, только свидетельство о человеческих поисках. Она содержит в себе блуждания и заблуждения, вопрошания и ошибки человека. А Евангелие содержит в себе ответ. Ответ ясный, не предназначенный для узкой аудитории избранных, ответ, который предполагает избранным каждого человека, у которого есть искреннее желание постичь истину, у которого сердце открыто к ней.

Естественно, человек может быть более продвинутым или менее продвинутым. Но нет людей, для которых истина была бы закрыта полностью. Поэтому все то, что в Евангелии кажется нам тайной, рано или поздно, если мы будем двигаться по его пути, станет ясным. Здесь нет никаких секретов, а есть только бесконечное приближение к прекрасному, священному, божественному, воплощенному в нашем земном, человеческом — в подлинной евангельской литературе, в душах евангелистов, в том, как мы встречаемся с ними, а через них — с Тем, Кто изображен в Евангелии.

## **Библия и древнерусская литература**

Сегодня мы начнем разговор о Священном Писании в русской литературе. Вы знаете, что вместе с христианством во время процесса крещения Руси на нашу землю пришла и великая Книга, которую обычно называют Книгой Книг. Это было очень важное событие, потому что на Руси уже в первое десятилетие после крещения было немало грамотных людей. Распространение духовности не могло идти только через устное слово и через внешний символ. Нужна была книга. И вот эта Книга пришла.

Большим благословением и счастьем явилось то, что уже за столетие до традиционной даты крещения Руси Библия была переведена на церковнославянский язык. Не полностью, не целиком, но в тех ее главных частях, которые употреблялись во время богослужения. Существовали три типа библейских сборников: паремийники, включавшие в себя ветхозаветные тексты, которые читаются за всеобщим бдением, апракосы, то есть тексты Нового Завета, расположенные в том порядке, в каком их читают в течение всего церковного года (а не в том порядке, как они были написаны и входили в канон), и Псалтирь. Это были первые важнейшие части Библии, переведенные на церковнославянский.

Мы не знаем в точности, кто были переводчики. Кирилл и Мефодий начали это дело. Вернее, Кирилл начал, после его кончины Мефодий продолжил, а потом неведомые нам труженики продолжали эту работу. И поэтому в X в. уже существовала почти полная славянская Библия. Приход ее означал вхождение в сознание людей целого мира веры, надежд, идей, культурных горизонтов, исторических перспектив и воззрений. И естественно это не могло остаться без последствий для развития литературы.

Распространение Библии было особенно важно в связи с тем, что крещение киевлян произошло сравнительно быстро — это была ломка. От первых рассеянных по Киевской державе небольших групп христиан до торжественного крещения жителей Киева при Владимире процесс



происходил подспудно, постепенно, но потом он стал набирать необычайную скорость. Очень скоро после крещения Руси, при Ярославе Мудром, в Киеве уже стоит собор, который может соперничать с лучшими соборами Восточной Европы. Уже есть огромная библиотека, есть множество книжных людей, идет интенсивная культурная работа. Это произошло на протяжении жизни двух поколений. И такая стремительность обязательно требовала Книги, писаного слова.

Что же мы находим в этой Книге важного для литературы и истории? Прежде всего, особый, духовный, мистический историзм — восприятие жизни человечества как некой драмы, цельной драмы, которая имеет завязку и направление. Об этом свидетельствует очень древний текст, который условно называется «Речь философа». Этот текст вставлен в «Повесть временных лет», дошедшую до нас в Лаврентьевской летописи, в нем рассказано о том, как князь Владимир размышлял, какую религию сделать государственной в Киевской державе. «Речь философа» содержит в себе удивительную по выразительности, лаконизму и глубокой насыщенности краткую схему всей библейской истории.

Надо было уже владеть немалым литературным мастерством, чтобы огромный эпос Библии изложить на двух-трех страницах. Там говорится и о самом принципиальном — основании мира: Бог творит мир в течение определенного периода; Бог создает человеческий род; Бог создает его как кровное единство.

Заметим, что «Повесть временных лет» начинает свою историю не просто с какого-либо события отечественной истории, а начинает с библейского родословия народов. В десятой главе Книги Бытия, первой книги Библии, вы найдете скучную для непосвященного таблицу, где перечисляются различные народы, преимущественно Древнего Востока и Средиземноморья. Зачем в священной, религиозной книге мы видим эти бесчисленные, причудливые для нас имена, названия племен, колен, городов, народов? А это особый прием, свойственный языку Библии: это знак, сигнал о том, что человечество есть одна целостная семья и что группы народов, которые здесь перечисляются, происходят от трех братьев — Сима, Хама и Иафета. И дальше библейские авторы перечисляют множество народов, которые потом входят в пролог «Повести временных лет».

Для самого повествования преподобному Нестору Печерскому (или тому летописцу, который этот текст писал, — мы не всегда точно знаем, что принадлежит одному или другому летописцу) было важно начать не просто, скажем, с основания Киева, а начать с предыстории народов. И указано, что семьдесят два народа лежат в основе человечества. Это условная священная цифра. В Библии многие цифры священны условно. Например, семь означает полноту. В Иерусалимском Храме до его разрушения в определенные дни приносилось семьдесят две жертвы — за каждый народ Земли. Фактически, несмотря на разделения, конфликты и взаимонепонимания, эта идея единства человечества была очень древней и исключительно смелой. Крупнейший русский специалист по Древнему Востоку Борис Александрович Тураев писал в своей книге, что Библия дает уникальный образец сознания единства человечества в ту эпоху, когда почти каждый народ человеком называл только представителя своего племени, а иные люди — это были уже потомки дьявола или дети каких-то злых богов, и это вполне понятно, потому что первобытному человеку свойственна боязнь чужого. И вот эту смелую библейскую идею о том, что все мы, люди, кровно связаны между собой, древний летописец делает преамбулой к истории своего княжества, славянских племен, своего государства и народа.

Я рекомендую каждому из вас найти «Повесть временных лет» — она у нас издавалась неоднократно, она вошла и в сборник Библиотеки всемирной литературы, и в серию, издающуюся под редакцией Д. С. Лихачева, и во многие другие издания, — и прочесть там «Речь философа» перед князем Владимиром. Конечно, эта речь изложена не философским языком. Это картина, более того, я бы сказал, что это икона истории: там все слегка упрощено, но это то, что западает в душу, которая начинает искать истину.

В чем же тут смысл? Для древних греков, для древних индийцев, для многих языческих народов истина была великой тайной, и остается таковой поныне: это тайна, которая скрыта за миром явлений. Но Библия открывает нам нечто иное: что история имеет священное значение для человека, что история есть то лоно, в котором замыслы Божии осуществляются.

Поэтому она не безразлична, не маловажна, не есть что-то преходящее. Она — то пространство, где осуществляется великий диалог между человеком и его Творцом.

Историзм Священного Писания... Удивительно, что отцы истории, такие как Геродот, Фукидид, этого не знали. Они были почти летописцами, они просто изображали цепь событий, которые цеплялись друг за друга, а иногда казались изолированными. У них не было представления о том, что история имеет вектор.

Почему так было? Потому что человек ориентировался в древности на природу, а в природе нет вектора. В природе все вращается, все приходит на круги своя. Вот сейчас желтеют осенние листья, но мы с вами знаем, что приближаются зимние холода, потом будет опять весна, потом опять лето — и так вновь и вновь. И древний человек видел это неизменно, почти в любом поясе Земли. Даже в тех регионах, где климат сезонно не очень колеблется, двигались светила, утром всходило солнце, вечером оно обязательно садилось, менялись фазы Луны — все было статичным или вращалось по кругу. И поэтому весь мир естественно воспринимал бытие на Земле как статическую картину. И только Библия пробивает здесь брешь. Не потому, что ее писали какие-то особые философы, которые додумались до иной модели — так сказать было бы неверно. Они приняли это как Откровение, как прорыв чего-то иного, что даже им самим было не очень понятно. Но уже усвоив и приняв эту концепцию, они пронизали ею все дальнейшие Книги, и можно сказать, что от Бытия до Апокалипсиса Библия разворачивается как великая историческая поэма. Поэтому «Речь философа» — это не афоризмы, не какие-то статичные догматы, а эпос, рассказ, сюжет. Творение мира — благодать Божия. Противление человека, который благодаря своей свободе может повернуться к Богу спиной, катастрофы, которые этим порождаются. Постепенно Бог выводит человека из этой темноты и ведет его к явлению света. Откровение, данное Аврааму. Авраам еще ничего не знает, он не знает, что произойдет. Он только призван на какое-то таинственное дело. Но именно потому, что он верит Богу, он идет и закладывает основание ветхозаветной Церкви. Это великая фигура, которая потрясала людей многие столетия. Авраам пошел в неведомое, но он знал, что есть какая-то цель. И история Ветхого Завета становится подготовкой к явлению Христа.

Христос является в мир как осуществление тысячелетних надежд. Для чего? Для того, чтобы дать человеку, слабому и немощному, новые силы для движения к полноте бытия, к Царству Божию. Человек не так-то легко на это поддается, человек этому сопротивляется, человек борется с Богом, и Бог его побеждает. И это святая победа, радостная победа. Но свобода остается. Потому и приходит Христос без меча, без силы и славы внешней. А принять Его человек может только свободным актом. Узнать Его, почувствовать Его! А потом идет развязка, и над ней размышляет князь Владимир в «Речи философа».

Что же произошло в двух мирах, прошлом и новом, что нового принесло христианство? Для некоторых людей сегодня — это мысль о какой-то иной морали. Нет, это не совсем верно. Значительную часть этических принципов христианства мы найдем у стоиков, в буддизме, в Ветхом Завете. В чем же тут особенность, почему — два мира? Над этим размышляет еще один древнерусский писатель той же эпохи, знаменитый Иларион.

Знаменитый, но неведомый. Человек, о котором мы очень мало знаем. Первый из русских, назначенный митрополитом Киевским по желанию князя Ярослава Мудрого — обычно митрополиты назначались из Византии и были греками; и вот, собрались у князя духовные лица — высшая иерархия — и провозгласили, очевидно, независимо от Константинополя, этого человека митрополитом. «Муж книжный», «честной постник», образованный человек.

Мы очень мало о нем знаем. До сих пор неточно атрибутированы его произведения. В XIX в. профессор нашей Духовной академии прот. Александр Васильевич Горский сумел доказать, что «Слово о законе и благодати» принадлежит ему. Оно включает в себя также и исповедание веры и молитву.

«Слово о законе и благодати» написано в 50-е — 60-е гг. XI в. В это время в Болгарии, Византии и во многих других восточных странах распространялось учение манихейства. Манихеи учили, что все материальное, все природное создано низшим богом, а истинный Бог создал только дух. Вы понимаете, насколько для сознания простых людей это было понятным и объяснимым? Наши болезни, смерть, трудности, голод, жажда, старение — все то, что угнетает

нас в материальном мире, — все это одним росчерком относилось к злым силам. А единственной ценностью становился дух. Получалось как бы два творца: злой и добрый.

Эта идея пришла из Ирана, из древней персидской религии Заратустры. В истории религии ее называют «радикальный идеализм». Ее усвоили гностики, манихеи. Несмотря на то, что манихейство преследовалось и христианами, и последователями других религий, оно неудержимо распространялось. В Европе манихеи назывались альбигойцами или катарами. Наверное, многие из вас помнят со школьной скамьи знаменитые Альбигойские войны, которые бушевали во Франции именно в это время, в XII—XIII вв. Альбигойцы захватили почти всю южную Францию, захватили в прямом смысле слова: то есть к этой доктрине склонились могущественные феодалы, у которых были замки, войско, и шла война.

В России источником дуализма была соседняя Болгария. Там это учение называлось богомилством. Богомилская литература очень быстро проникала на Русь, и не всегда люди, особенно не богословы, могли отличить книги подлинно церковные от этих еретических книг.

Может показаться, что митрополит Иларион, когда он писал о резком противопоставлении старого закона и новой благодати, находился под влиянием богомилской ереси. Но это не так. Это очень сложное произведение, очень трудно толкуемое с богословской точки зрения, причем автор подчеркивает: «Я же пишу не неграмотным, не детям, а людям, которые в этом разбираются». Значит, у него уже тогда была изощренная богословская аудитория, для которой он мог написать такую сложную и спорную вещь. Для того чтобы отклонить мысль о том, что он разделяет ересь богомилов (или катаров, или альбигойцев) о двух заветах — завете дьявольском и завете Бога, Иларион начинает с такой преамбулы: «Благословен Господь Бог Израилев, Бог христианский, за то, что посетил и дал избавление людям Своим». То есть Бог Ветхого Завета для него тождествен Богу Нового, и здесь не может быть никаких сомнений. «Кто еще велик, как наш Бог? Он один, творящий чудеса, установил закон, предворяющий истину и благодать, чтобы в нем пребывало человеческое естество, от многобожия языческого отходящее к вере в единого Бога; чтобы человечество, как сосуд скверный, но омытый, словно водою, законом и обрезанием, восприняло молоко благодати и крещения. Ибо закон предтечей был и слугой благодати и истины».

Значит, концепция закона в Ветхом Завете здесь рассматривается под углом зрения, если хотите, эволюции — как подготовительная стадия. Люди находятся во мраке идолопоклонства. Бог дает им закон, чтобы из этого состояния выйти, и, когда является Христос, закон отступает — по образному выражению Илариона, как уходит луна, когда восходит солнце, — и торжествует благодать.

В чем принципиальная разница между законом и благодатью? Антитезу закона и благодати впервые очень остро сформулировал апостол Павел. Я постараюсь передать вам самую суть. Закон — это кодекс этики, закон — это принцип, правило; закон — это ограда; наконец, закон — это обряд.

Нужен ли обряд? Да, конечно, потому что он выражает наше духовное состояние. Нужна ли ограда? Да, потому что она формирует человеческое общество и самого человека. Нужны ли кодексы: не нарушай, не убивай, не кради и так далее? Да, конечно. Так мы поступаем с ребенком, когда начинаем его учить. Мы ему сначала говорим, чего не следует делать. Мы учим его обуздывать себя, мы говорим: нет! Начинать приходится преимущественно с негативных моментов.

А что такое благодать? Это уже возможность для человека воспринять божественную силу, которая будет помогать ему позитивно преобразовывать свою личность.

Закон как бы сажает человека на цепь, чтобы он не ушел далеко. Благодать открывает человеку свободу, чтобы он нашел силу в своем внутреннем мире; не во внешних «прельщениях», как говорили в старину, а изнутри. Чтобы любовь к человеку, самоотвержение, правда — все то, что является для нас главным в жизни, — осуществлялись не под давлением какого-то кодекса, в который мы заглядываем со страхом, как в уголовный кодекс, а изнутри. Кстати сказать, уголовный кодекс имеет к этому прямое отношение. Я много раз беседовал с представителями правоохранительных органов, милиции, и спрашивал: сильно ли действует на преступников ужесточение наказания? Ни один не сказал, что да. Все они говорили, что, если

есть у человека совесть, тогда что-то получается. Но как ни пугай их всеми мерами, в том числе и высшими, если нет ничего внутри, если не действует благодать, никакой закон, даже уголовный, не помогает. Это реальный психологический и исторический факт.

Каждая культура создается в рамках обряда. Это естественно, это драгоценно для нас. Потому что обряд есть форма — национальная и культурная форма выражения человеческих чувств. Если мы ее ликвидируем, это все равно что разбить стакан и пытаться пить воду. Конечно, стакан — не вода. Но для того чтобы вода держалась, необходима форма. Это еще один элемент закона. Но у обряда есть одна особенность: поскольку он понятен и свойствен психике человека, то у обряда есть тенденция захватить все, захватить и не принадлежащие ему сферы, как если бы стакан превратился в сплошной монолитный кусок стекла, в котором не было бы места для воды. Эта проблема была, есть и будет острой.

По вопросу об обряде были сражения: в XVI в. в Европе — Реформация, в XVII в. на Руси — раскол. И до сих пор внутри христианства есть разделение по поводу обряда. Скажем, баптисты от нас отделяются, потому что не признают нашего обряда. Многие, многие конфликты внутри христианства были с этим связаны.

Для традиционного архаичного сознания и для сознания средневекового это было еще более важным элементом. И, конечно, Древняя Русь сначала приняла христианский обряд, а потом уже углубилась в сущность христианства. Подобно тому, как сначала мы учим маленького ребенка налагать на себя крестное знамение, и лишь потом он понимает глубину этого знака, так и начинающий язычник шел от обряда.

Но что поразительно: очень скоро, так же скоро, как возникла историософия в древнерусской летописи, библейская историософия («Речь философа»), возникает понимание того, что называют историческим провиденциализмом, — то есть что существует нравственный миропорядок. Это проходит красной нитью через всю летопись. И у Илариона это есть, когда он говорит, что историческое возмездие существует. Не потому, что Бог является жестоким карателем, а потому что есть связь, глубокая связь между событиями и деяниями человеческими. И когда оскудевает добро, наступает экологическая катастрофа духа. И это есть возмездие.

В XII в., незадолго до своей смерти, уже «сидя на саях», как тогда выражались (на саях везли знатного покойника), князь Владимир Мономах пишет свое «Поучение». Он пишет его не только своим потомкам, но также и всем, кто, как он выражается, «хочет понять и прочесть». Это удивительная книга. В мировой средневековой литературе это памятник, в каком-то смысле равный по значению пророческим писаниям Библии. Книга начинается с того, что князь Владимир переписывает Псалтирь: строчка за строчкой, фраза за фразой. Мы чувствуем, что престарелый князь не может остановиться, потому что каждая фраза для него — живая. И мы видим, как созвучны душе христианина XII в. сетования и хвалы древних псалмопевцев, живших задолго до нашей эры. Видно, что ему не хочется останавливаться. И потом он говорит своим читателям, в чем для него заключается самая суть христианской веры. «Прежде всего, — говорит он, — Бога ради и души своей страх имейте Божий в сердце своем». Подумайте: человек понял что-то духовное, глубокое, и вдруг — страх, вдруг какая-то зловещая нотка. Над этим много размышлял о. Павел Флоренский; свои известные лекции о философии культа он начал с лекции о страхе Божиим.

Слова эти взяты из Библии. Должен вам пояснить, что в Библии есть два древнееврейских термина, которые обозначают страх: один обозначает страх, каким человек боится грозы, молнии, дикого зверя, а второй — это страх, каким он боится Бога. Это совсем другой страх. Мы не должны понимать его как страх в прямом смысле слова. Это трепет, это благоговение. Как говорил один горец в Гималаях, когдаходишь к большой горе, то надо уметь к ней подходить. Знаменитый историк религии Рудольф Отто писал о том, что человек переживает перед Богом и обычный страх, и надежду, и радость, и любовь, но есть особое чувство — это внутреннее потрясение души, это трепет; перед особой тайной, нечеловеческой тайной — «mysterium tremendum», чувство нуминозного (от лат. numen — божество). Вот это есть страх Божий.

Не надо думать, что Бог — это картинка, что Бог — это отвлеченное понятие. Вспомним прежде всего слова пророка Исаии, у которого Господь говорит: «Как небо далеко от земли, так

и ваши мысли далеки от Моих. Я Бог, а не человек». И когда мы в обыденной речи начинаем говорить о Боге так, как будто мы говорим о соседе, или как будто мы говорим о начальнике какого-то большого общепланетного министерства: почему Он недосмотрел там, почему недосмотрел тут, — мы забываем о страхе Божиим, мы забываем, что это Бог, а не человек, что это иноприродное начало, что это Личность, Лицо, но совсем особое, и поэтому без благоговения, без трепета подойти к Нему нельзя: все потускнеет, все исчезнет, Он Себя не откроет.

Это понимает и князь Владимир, когда напоминает библейские слова о том, что начало мудрости — это страх Божий. Далее он говорит: «Научись, верующий человек, быть благочестию свершителем», научись, по евангельскому слову, «очам управлению, языка воздержанию, ума смирению, тела подчинению, гнева подавлению, иметь помыслы чистые, побуждая себя на добрые дела, Господа ради; лишаемый — не мсти, ненавидимый — люби, гонимый — терпи, хулимый — молчи, умертви грех». И дальше он говорит удивительные слова: «Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех (он имеет в виду дела милосердия), не тяжки ведь они; ни затворничеством (обращаю ваше внимание!), ни монашеством, ни голоданием, которые иные добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию».

Разумеется, Владимир Мономах совсем не отрицает аскетических подвигов (аскетизм занимает очень важное место в христианстве, в Евангелии), но в то же время князь уловил, сохранил главное, что есть в Евангелии: что все-таки Богу важнее милосердие к ближнему. И ни затворничество, ни голодание не могут быть выше, чем действенная любовь. Это говорит нам человек XII века, повторяя слова еще более древние, в то время как многие столетия спустя люди оказывались не в состоянии это понять. Я вполне мог бы дать сегодняшнему человеку, скажем, моему прихожанину, русский перевод духовной части «Поучения Владимира Мономаха» как краткий компендиум православного, христианского, евангельского учения, и практического по преимуществу. Оказывается, в Древней Руси это умели формулировать, возвышенно и благоговейно.

А теперь мы сделаем сразу огромный скачок в истории. Мы перейдем через эпоху феодального распада, ордынского ига, возвышения Москвы (вы понимаете, что в одной небольшой беседе невозможно охватить всю эту огромную тематику) и подойдем к протопопу Аввакуму, человеку XVII века.

Здесь мы найдем удивительный контраст. Я не буду напоминать вам о том, что протоиерей Аввакум Петров был одним из ярчайших писателей своего времени, что это был борец за дело сохранения старых традиций, деятель действительно огромного масштаба. Это такая личность, которая в истории рождается, может быть, раз в полвека, а то и реже.

Я хочу обратить внимание на роль Библии в его творчестве. Он писал, уже находясь в ссылке, в Пустозерске, в суровейших, ужасных условиях, которые и сейчас-то для людей трудны, когда у нас есть и радиосвязь, и электричество. Тогда, в конце XVII в., его сослали туда за инакомыслие и потом казнили жестоким образом (вы, наверное, знаете, что он был сожжен в срубе). Это был человек непреклонный.

Протопоп Аввакум писал там толкования на священные книги, толкование на Библию, на отдельные части Ветхого и Нового Завета. У него мы находим совершенно иной стиль, иной подход. Того величественного, немножко византийского, благоговейно-возвышенного стиля мы у него не найдем. Этот человек пишет, как будто рубит топором, грубыми народными словами, которые он слышал в своей нижегородской юности. Вот, скажем, он описывает драму первого человека, Адама. Для него это не просто история, для него это вечный архетип человека перед Богом, и в этом он прав. Сказание об Адаме, которое обнимает всех нас, — это сказание о своеволии. Я думаю, вы все помните, что в молитве «Отче наш», единственной молитве, которую непосредственно дал нам Господь Иисус, есть слова: «Да будет воля Твоя». Это великая молитва и великие слова. Только открывшись высшей воле, человек осуществляет себя, осуществляет свое подлинное «я». Чтобы проверить это, человеку говорится: вот здесь красный свет! Но он говорит: да будет воля моя! И змей, который олицетворяет все низменное и темное, сатанинское, демоническое, говорит: можно, — вы будете как боги, владеющие добром и злом — всем миром.

Я должен пояснить это идиоматическое выражение: на древнееврейском языке слова «добро и зло» обозначают «все на свете». «Ведать», знать — не означает научное, философское, теоретическое познание, а обозначает владение, обладание; поэтому, скажем, к мастерству музыканта или к супружеским отношениям прилагается тот же глагол «знать». «И познал Адам Еву, жену свою» — значит, он вступил с ней в союз любви, плотской любви. Так вот, «познать добро и зло» — значит управлять всем. Это как раз девиз науки современной, науки Нового времени: встать у пульта и вертеть Вселенной, как будто бы это детские игрушки. Так захотел сделать первый человек, но когда он вкусил от запретного древа, он увидел только одно: что он голый, что он беспомощен. И спрятался от Бога. Вечный образ. Первое движение — убежать.

Бог спрашивает: «Где ты, Адам? Почему тебя не вижу?» — все так образно, как в натуре. Это сделано специально для того, чтобы люди любой цивилизации, любого уровня, пятилетний ребенок и семидесятилетний старик, поняли. «Где ты, Адам?» (помните, у Генриха Бёлля есть такая книга: «Где ты был, Адам?») — а он говорит: «Я спрятался». — «Почему?» — «Я вижу, что я голый» (у него появилось чувство стыда). — «Откуда ж ты узнал это? Не вкусил ли ты оттуда?» Это момент, важный для совести человека, когда он должен сказать: «Да, я преступил Твою заповедь». Но нет, он говорит: «Это женщина, которую Ты мне дал, она меня соблазнила». Бог спрашивает женщину: «Как же ты вкусила от запретного?» И она не кается, она говорит: «Это змей». И так идет цепочка. И змей тут оказывается «последней инстанцией». Все это настолько бессмертно, настолько передает основную модель искушения — для любого времени, — что мы начинаем понимать, почему пророк Аввакум мог писать об этом в таких словах.

Вот Аввакум описывает драму Адама и потом говорит: «...Оне упиваются, а дьявол смеется в то время. Увы невоздержания, увы небрежения Господни заповеди! Оттоле и донднесь творится так же леть в слабоумных человеках. Потчивают друг друга зелием нерастворенным, сиречь зеленым вином процеженным и прочиими питии и сладкими брашны. А опосле и посмехают друг друга, упившагося до пьяна, — слово в слово, что в раю бывает при дьяволе и при Адаме.

Бытие паки (то есть «Книга Бытия продолжает»): "и вкусиста Адам и Ева от древа, от него же Бог заповеда, и обнажистася". О, миленькие! одеть стало некому; ввел дьявол в беду, а сам и в сторону. Лукавый хозяин накормил и напоил, да и с двора спехнул. Пьяной валяется на улице, ограблен, а никто не помилует. Увы безумия и тогдашнева и нынешнева!»

Подобного рода иронический, слегка юмористический, шаржированный, гротескный подход мы находим почти всюду в толкованиях пророка Аввакума. И может показаться, что у этого человека как бы ослабел страх Божий, если он подходит к священным предметам иронично. Нет! Вот здесь — большая тонкость литературного гения этого человека, который, употребляя вульгаризмы, даже брань и почти сквернословие (с нашей точки зрения, в нашем лексиконе; я этого вам не стал зачитывать), сохраняет дистанцию. Он говорит нам о том, что это написано не про первобытных людей: это происходит всегда, это касается всех нас, эти священные модели вечны. Он берет в качестве образца пьяницу (а можно было бы взять и другое) — то, что было у него перед глазами, тем более что в Сибири, в этом климате, люди всегда пили хорошо.

Это особый подход, он прочно укрепился в мировой литературе. Мы очень часто можем видеть подобное в современной английской, американской, французской библеистике, особенно популярной. Мне даже приходилось читать специальную книгу «Юмор в Библии».

Да, в самой Библии много юмора, потому что юмор — это человеческое свойство, дар Божий. Ведь у животных юмора фактически нет. И юмор, и даже сарказм были в обилии у пророков. Есть юмор и в Евангелии. Вы скажете: как, такая серьезная книга — какой же там может быть юмор? Есть, и очень много. Просто мы разучились читать свежими глазами. Почти все притчи Христовы произнесены с улыбкой. Вот вам хрестоматийный пример. Господь говорит о том, что в духовной жизни необходима необыкновенная настойчивость. В стремлении, в молитве человек не должен думать, что вот сейчас все получится. И чтобы пояснить эту мысль, Он рассказывает про некоего судью, который Бога не боялся, людей не стыдился. Приходит к нему вдова (очевидно, дальняя предшественница чеховской «женщины слабой и беззащитной»), приходит и начинает его донимать: «Ты мое дело разбери». Сначала он ее отсылает, потом видит: нет, это не та женщина, от нее так просто не отделаешься, и в конце притчи он говорит:

«Да, хотя я Бога не боюсь, людей не стыжусь, но что же со мной будет, если я не решу ее проблемы?»

И он идет ей навстречу. Господь привел этот как бы смешной случай — но для серьезной цели. И многие притчи именно таковы. Потому что человеку свойственно смеяться и свойственно видеть несоответствие между идеалом и действительностью.

(Как-то в Москве одна замечательная женщина, Надежда Николаевна Ладыгина, воспитывала обезьянку шимпанзе. А потом у нее родился сын, и она написала прекрасную книгу, которая вышла перед войной: «Дитя шимпанзе — дитя человека». Там, в одной из таблиц, она сравнивает, что общего у них, что их различает. Чувство юмора у ребенка пробуждается, у шимпанзе — нет. Когда шимпанзе смеется, это просто рефлекторная реакция на удовольствие, на щекотку и т. д.)

Поэтому свежий, новый, острый подход к библейской фактуре в древнерусской литературе вполне оправдан, и он заставлял людей, которые слушали и читали протопопа Аввакума, свежими глазами увидеть тексты, которые к XVII веку, начиная со времен крещения Руси, уже стали чем-то привычным, они как-то перестали замечаться.

Подобную же цель преследовал современник протопопа Аввакума, но человек совершенно иного склада, Симеон Полоцкий. Он хотел открыть Библию заново, вскрыв ее поэтические свойства. Симеон Полоцкий был родом с Запада, из Белоруссии, служил при Алексее Михайловиче, был прославлен как поэт, как создатель придворных пьес. Он написал стихотворный парафраз Псалтири. В предисловии он пишет, что Псалтирь — это поэтическое произведение, что это поэзия, поэтому он имеет право переложить ее на стихи точно и близко к подлиннику. Знаменитый художник Симон Ушаков сделал гравюры к этой книге. Она вышла и пользовалась на Руси большой популярностью.

Но в одном отношении Симеон Полоцкий приближался к протопопу Аввакуму — своему антагонисту по идеологии (потому что старообрядцы и западники были достаточно чужды друг другу; это были разные миры внутри древнерусской культуры; Симеон Полоцкий отнюдь не одобрял старообрядцев). Он писал пьесы на библейские темы. Их ставили при дворе царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. В частности, он написал пьесу-комедию о блудном сыне. Евангельская притча превращалась в актуальное событие. Как-то я видел западный фильм о блудном сыне. В этом фильме отец — почтенный современный бизнесмен, в прекрасном костюме, живущий в замечательном домике. Сын его — искатель приключений, может быть, хиппи, путешествует автостопом, ищет себе приятелей, потом пропадает где-то в ночных кабаре... Все в современном плане. Это то же самое, что делал Симеон Полоцкий в своих пьесах, которые ставил в XVII в. при царском дворе. Для чего это нужно? Чтобы вечный смысл Писания все время перевоплощался в какие-то новые формы, национальные и эпохальные, соответствующие эпохе, и чтобы люди всех сословий и званий могли понять великую весть, которую нам несет Библия.

## **Библия и литература XVII века**

Итак, мы с вами продолжаем наше путешествие по векам и по жанрам, в которых отражалась библейская традиция на протяжении истории.

XVII век! Это был потрясающий, грозный, чреватый многими великими и трагическими событиями, век. Это был век протопопа Аввакума, патриарха Никона, Ришелье. В России его называли «бунташным» веком — век Кромвеля, английской революции, Смутного времени в России; век, когда жил еще Шекспир (в XVII в. был написан «Гамлет»); век, когда эпоха Ренессанса уже пережила свой кризис и чувствовалось приближающееся веяние иных, трагических времен; век, когда начало бушевать барокко, с его тревожной динамикой и подвижностью. И естественно, что именно этот век сумрачного Тинторетто был очень чуток, особенно чуток к Священному Писанию, к тем его грандиозным страницам, которые подобны фрескам, которые навсегда врезались в сознание и память человечества.

Три имени я хочу вам сегодня напомнить. Среди них первое — Гуго де Гроот, голландец, который был известен как Гуго Гроциус (латинизированная форма его имени), или просто

Гроций, человек, имя которого и сейчас является значимым в силу того, что он заложил основы международного права. Его книга о международном праве есть на русском языке (она издана в 1956 г.), она называется «О праве войны и мира».

Но мало кто знает, что Гуго Гроций был одним из крупнейших исследователей Библии, человеком, который в известном смысле начал новую эпоху в библеистике.

Судьба его удивительна. Этот человек, родившийся в Нидерландах в семье образованного муниципального, впоследствии университетского, деятеля, был поистине вундеркиндом. Он окончил университет уже в четырнадцать лет! Владел множеством тогдашних наук, языков и получил докторскую степень в шестнадцать лет. И в это время Гуго Гроций написал свое первое художественное произведение на библейскую тему: «Адам изгнанный». Это юношеская драма, трагедия, написанная по образцу любимых Гроцием трагедий римского философа и писателя Сенеки — философских трагедий, в которых было мало действия и много размышлений, длинных монологов. Гроций не включил в свои собрания сочинений эту юношескую поэму, однако она оказала огромное влияние на всю литературу XVII в. и на важнейших ее представителей — Йоста Вондела и Мильтона.

Гроций был в чем-то похож на Дон Кихота. Даже на портретах этот худошавый человек с остроконечной эспаньолкой напоминает нам Дон Кихота. И жизнь его была похожа на приключения странствующего рыцаря. Он становится адвокатом, когда ему нет еще и двадцати лет, и совсем юным получает огромную популярность в Нидерландах. Гроций изучает различные науки, занимается философией, богословием, филологией, юриспруденцией.

В это время в Нидерландах бушует религиозно-политическая война. Такие войны охватили тогда всю Европу, включая Россию. (Не надо думать, что раскол, старообрядчество и определенным образом связанное с ними восстание Разина и другие мятежные события XVII в. — какие то изолированные факты истории, принадлежащие только нашей стране. Нет. Тогда поколебались все основы всей христианской Европы. И религиозные войны, которые бушевали на Западе, имели свои параллели и в России.)

В Голландии быстро распространялась строгая кальвинистская доктрина. Дело в том, что когда пошатнулась старинная, исконная, выверенная, но уже ставшая несколько склеротичной, церковная католическая система, когда на ее место пришли вольные течения протестантизма, после первого глотка религиозно-церковной свободы стало быстро наступать отрезвление. Стало ясно, что человек в массе своей нуждается в церковной структуре. Разрушив старую, отказавшись от неё, необходимо было строить новую. И вот с этим замыслом и с этой практикой выступил Жан Кальвин, женеvский религиозный диктатор. Те из вас, кто о нем мало знает, найдите недавно вышедшую книгу Стефана Цвейга «Совесть против насилия». Там дается, правда, несколько утрированный, омраченный, образ и без того сумрачного Кальвина.

Да, он, конечно, был диктатором. Но недостаточно сказать, что он был просто диктатором. Иначе не было бы у него столько последователей: и до сих пор существует довольно обширная Реформатская Церковь. Все это было определено Кальвином. Взамен старой, отвергнутой церковной системы, которая была свойственна Католической Церкви, он предложил новую, достаточно жизнеспособную. Но для свободных и просвещенных людей, таких, как Гроций, эта система, оказалась тесной. И поэтому он примкнул к последователям другого голландца, Якоба Арминия.

Этот замечательный человек выступил с богословской полемикой против Кальвина, утверждая, что тот несправедливо, неверно, неадекватно истолковал апостола Павла, приняв буквально его учение о предопределении, взяв его формально, рационализовав его. И получилось, что все люди жестко запрограммированы либо на вечное совершенствование, либо на вечную гибель.

Эта мрачная, я бы сказал, доктрина была подвергнута Арминием критике. Но полемика по поводу сущности человека и его свободы переплеталась все время с политической борьбой. Втянутый в эту борьбу, Гроций оказался в тюрьме, его приговорили к пожизненному заключению. Но через три года жестокий режим в тюрьме ослабел. Гроцию стали давать книги. Его жена, необычайно энергичная дама, постоянно носила ему книги целыми корзинами (видите, какие в то варварское время были способы содержать людей в тюрьме!). И корзины часто были



столь большие, что у жены Гроция возник смелый план, который она и осуществила. Однажды ее слуги вынесли из тюрьмы большую корзину якобы с прочитанными томами, но в этой корзине сидел ее муж. Таким образом, пробыв три года в тюрьме, он покинул свое узилище.

Гроций уехал во Францию, потом в Швецию — такой человек всюду был нужен, потому что он владел множеством различных полезных знаний. Он стал послом Швеции во Франции (правда, с Ришелье ему не удалось установить хороших отношений).

Тогда он написал свои замечательные научные комментарии к Ветхому Завету. Это был один из первых опытов комментария к Священному Писанию на основании истории, на основании сравнительного метода. Этот метод был применен в той же Голландии, в том же столетии, но уже в более развернутом виде известным философом-пантеистом Барухом Спинозой.

Хотя Голландия и изгнала своего сына Гроция, но мир его признал. Его трактат о международном праве вышел тогда же множеством изданий. Гроций продолжал писать и на богословские темы. Любопытно отметить, что его книга «Рассуждения против атеистов» — в защиту христианской веры — уже вскоре была переведена на русский язык и издана у нас в XVIII в.

Я не буду останавливаться на всех перипетиях судьбы Гроция. Умер он вскоре после тяжелого морского путешествия, где едва не погиб — корабль потерпел крушение. Гроций вернулся домой уже больным и вскоре умер, будучи еще сравнительно молодым.

У него был друг, единомышленник, Йост Вондел, который был младше его всего на четыре года (Гроций родился в 1583, а Вондел — в 1587 г.). Но Вондел прожил почти девяносто лет и был свидетелем бесчисленных потрясений, которые тогда терзали Европу.

Драматическая поэма Гроция впервые не только позаимствовала материал из Библии, но и связала его с народными апокрифическими мотивами. Тогда, в эпоху расцвета бурных драм и трагедий, всех волновала проблема первопричины: как началось зло, которое терзает человеческий род, где его начало? Поэтому тайна сатаны, тайна Люцифера, тайна падения прачеловека Адама была в центре внимания. В Средние века не раз на народных празднествах устраивались спектакли — сказания об Адаме и его падении. Это было и на Руси времен Алексея Михайловича, и на Западе. Этот опыт сказаний с вольной интерпретацией Библии использовал Гуго Гроций.

Должен вам сказать, что Библия не содержит рациональной теодицеи. То есть, иными словами, в Библии нет строго, логического последовательного объяснения природы и причины зла. Библия учит о том, что зло реально существует и человек должен противостоять ему, бороться с ним. Но она не рационализирует, не раскладывает по полочкам, не дает какой-то теории, оставляя человека перед тайной, навстречу которой он должен всегда, идти, набравшись смелости, веры и твердости духа. Но есть в Библии слова, как бы брошенные вскользь, что сперва дьявол согрешил. Эти слова заслуживают внимания, потому что многие люди, читая Библию, полагают, что зло пришло с человеком, что до него все было благополучно. Но оказывается, по словам апостола Иоанна, зло уже вошло в мир до человека, и когда человек повернулся в сторону зла, то есть вопреки Богу он уже имел кем-то проторенную дорогу.

И еще одно. В Библии есть образ, фигурирующий как бы на заднем плане, — это образ гигантского морского чудовища, символ хаоса, символ мятежной стихии, которая все разрушает. Это сатана (сатан по-древнегречески, что значит «противник»). Бог есть торжество света. Как говорит поэт Алексей Константинович Толстой:

Бог один есть свет без тени.  
Нераздельно с Ним слита  
Совокупность всех явлений,  
Всех сияний полнота.  
Но усильям духа злого  
Вседержитель волю дал,  
И свершается все снова  
Спор враждующих начал  
В битве смерти и рожденья

Основало Божество  
Нескончаемость творенья,  
Мирозданья продолженье,  
Вечной жизни торжество.

Свобода предполагает возможность зла, и битва начинается до появления человека. Гроций пытается эту битву изобразить в лицах, он ее конкретизирует, можно сказать, мифологизирует. А я бы даже сказал: чрезмерно очеловечивает. Он рисует царство каких-то существ (которых он называет ангелами, духами), но это совсем не таинственные духовные существа в понимании современного человека, а это обитатели каких-то иных миров. Больше всего они похожи на инопланетян, на неких братьев по разуму. И надо так их и трактовать.

Однажды, когда я смотрел известный фильм «Star Wars» («Звездные войны») и читал этот смешной, детский роман о том, как в космосе сталкиваются светлые и темные силы, мне это очень напомнило поэмы Мильтона, Вондела и Гроция. Схватки в космосе, показанные в этом фильме, очень похожи на то, что пытались изображать эти великие писатели.

Итак, некое царство, назовем их так, обитателей иных миров, которым определено некоторое пространство во Вселенной. И вдруг они узнают, что Творец сделал царем Вселенной некоего обитателя Земли — малой планеты! Более того, Он этого обитателя хочет в конце концов размножить и предоставить ему всю Вселенную — как господину. И это вызывает ненависть, зависть, мятеж главы этих существ — Люцифера — «носителя света» (Люцифер — «светоносный»). Он восстает против Бога, происходит сражение, он терпит поражение и, пытаясь нанести победителю урон, отравляет сознание, соблазняет человека. Человек оказывается, хотя бы ненадолго, на стороне Люцифера, который объясняет ему, что если он соединится с ним и восстанет против власти Бога, они вместе будут царствовать в творении. Разумеется, это был обман, и люди не стали как боги. Гроций изображает момент нарушения запрета как помрачение ума у первых людей, Адама и Евы, — они становятся безумными! И потом, придя в себя, они понимают, что перешли какую-то мистическую линию, какую-то черту — и наступила катастрофа. Трагедия такова, что выхода нет; но, следуя Писанию, Гроций указывает на будущее спасение человечества. Человек не отвергнут.

Иначе подошел к этой теме Йост Вондел. Это человек другой судьбы. Он был очень разносторонним, как и Гроций: ученый, поэт, прозаик, драматург, — и страдал оттого, что христианский мир раздирается войнами.

Родился он в семье ремесленника, сектанта-меннонита. Его не устраивала жесткость реформатов, он искал полноты Церкви, более свободной, более многогранной церковной жизни. И уже в зрелом возрасте, когда ему было за пятьдесят, он воссоединился с Католической Церковью.

Библия была неразлучным спутником жизни и творчества Йоста Вондела. Через нее он воспринимал события своего времени. В драме «Пасха» он описывает освобождение израильтян из египетского рабства, и мы слышим в ней гимн свободе Нидерландов, которые боролись с Испанией за свою независимость. Он обращается к различным сюжетам библейской истории, к истории Иосифа Прекрасного, Давида, который взлетел на высоту славы и потом из-за неблагодарности и измены своих детей находился в изгнании и страдал.

Вондел учился уже не у Сенеки, а у греческих трагиков. В его произведениях дышит дух Эсхила и Софокла. Могучие характеры, грандиозные столкновения воли и сил! Сейчас, впервые с 40-х годов XIX в., когда были изданы по-русски небольшие фрагменты Вондела, мы имеем в переводе всю библейскую трилогию Вондела, которую он назвал «трагедией трагедии», то есть началом всей человеческой драмы. В этот небольшой томик входят «Люцифер», «Адам в изгнании» и «Ной», то есть восстание демонов (ангелов), восстание Адама и восстание исполинов. Трилогия вышла в прекрасном переводе Витковского, который сжился с русской поэзией XVIII века, блестяще овладел языком, духом и стилем той эпохи и сумел передать текст Вондела в этом ключе. В приложении впервые опубликован перевод трагедии Гроция «Адам изгнанный», о которой я вам говорил (в переводе Шичалина).

Что нового появляется у Вондела? Он видел пафос борьбы, знал могущество демагогов, знал, как они увлекают массы на ложные пути, запутывают их в сети. Таким предстает у него

Люцифер. Это истинный демагог, который обольщает толпы «люциферистов» — ангелов, которые вслед за ним бездумно идут навстречу своей гибели, потому что хотят изменить мировые законы и восстают против Бога. А потом происходит битва, космическая битва. Все это начертано в эпически грозных, уже барочных тонах. Вы, может быть, помните картину художника Тинторетто «Архангел Михаил поражает Дьявола»: сумрачные тона, длинное копье, и вниз катятся темные силы. Вондел, конечно, знал эту картину. Во всяком случае, она очень созвучна ему.

И вот на сцене появляется человек... Идеальный человек! Адам и Ева — это гимн человечности, гимн любви. Единство мужа и жены даны в совершенной гармонии. И все это на фоне сказочного леса, сада эдемского, они — в единстве с природой. Появляется соблазнитель. Он пытается вовлечь в грех Адама как разумное начало, но Адам не поддается. Тогда он обращается к Еве и обещает ей знание; знание — и равенство с Богом! Ева соблазняется, поддается, несет плод Адаму, который ужасается (Вондел все это передает очень драматично). И вдруг он понимает, что она от него оторвалась, она погибнет, и он не хочет ее оставить одну. И вот они вместе совершают это нарушение, вкушают плод, и начинается внутреннее разрушение их душ. Впервые между ними возникает конфликт: они начинают обвинять друг друга! Потом небесный голос взывает к ним — это конец. Но это конец не полный. Перед тем как уйти из Эдема, Адам и Ева слышат пророчество о том, что Бог не покинет их и весь человеческий род.

Следующая драма — «Ной». Мир населен исполинами, гордыми титанами, которые бросают вызов небу. На Землю обрушивается потоп. Вондел был ученым, историком; в предисловии к драме «Ной» он подробно пишет о свидетельствах народов, древних мифов и легенд о том, что потоп действительно был. (Если вы сейчас захотите познакомиться с этим, то можете обратиться к книге нашего известного писателя и популяризатора Кондратова, который пишет на тему геологии и истории. У него есть несколько отличных книг, посвященных вопросу о потопе. Одна из них — «Великий потоп — миф или реальность?».) Но, поверьте мне, для Священного Писания этот материал имеет лишь второстепенное значение. Для Вондела он был важен: его вдохновляло, что он пишет о событиях реальных, действительных. Но нам важно совсем иное.

Сколько было в истории человечества катастроф, наводнений, извержений и других бедствий! Но Библия говорит о другом: о том, что природа имеет своим главой и царем человека. Она вышла из бездны; бездна моря — начальная стихия, согласно поэтике библейского сказания о сотворении мира. И если человек оказывается недостойным своего звания, если человек разрушает все, то разрушается и вся природа — она возвращается в исходное состояние первичного водного хаоса. Природа живая! Она реагирует на зло, воздвигаемое человеком. И это вечный и важнейший для нас урок сегодня: человек ответственен перед Богом за себя и за окружающий мир.

Но Вондел хочет показать, что восстание зла становится все меньше и меньше и последствия его смягчаются. Если восстание сатаны — это абсолютная чернота и он выбрасывается за пределы божественных замыслов, то восстание Адама получает прощение и надежду в будущем. А Ной вообще не погибает, а сохраняется и дает начало будущему человечеству.

Вот такие размышления о судьбах человечества были в Нидерландах. И в скором времени мы находим великий образец тех же размышлений над теми же сюжетами в Англии времен английской революции, низвержения Стюартов, диктатуры Кромвеля.

Джон Мильтон. Человек, родившийся уже в XVII в., 1608 году. Трагичная судьба. Интеллектуал, с юности зарывшийся в книги, до тридцати лет ничем, кроме интеллектуальной работы не занимавшийся, он оказывается втянутым в великую борьбу пуритан.

Мильтон составляет латинские тексты для международных контактов восставшей Англии. Но он убеждается, что те, кто поднял и знамя свободы, свергли и казнили короля, оказались столь же деспотичными и столь же жестокими, как и представители старой династии. Оказывается, диктаторство, насилие, зло — не только в структуре общества, но и в самой природе человека! Потом, когда началась реставрация и королевская власть вернулась, Мильтон едва избежал казни. К тому же он ослеп. Одинокий, всеми брошенный, еще достаточно молодой (ему еще не было пятидесяти), он начинает диктовать свою великую поэму «Потерянный рай».

(На русский язык поэма переводилась неоднократно. Сейчас мы имеем блестящий перевод Аркадия Штейнберга, он вошел в «Библиотеку всемирной литературы».)

Сюжет все тот же. Но на этот раз мы его видим уже не в драме, а в огромном, грандиозном эпосе типа гомеровского. Образы поразительные и в то же время внушающие изумление и недоверие. Опять инопланетяне! Опять какие-то совершенно плотские существа, восставшие против Бога, которые убрались в некое царство, там они строят огромный дворец Пандемониум (то есть «собрание всех демонов»), там они замышляют свои мятежи против Неба, пока глава их, сатана, не решается нанести Богу удар через человека. И вот космическая картина: сатана, подобный черному грифу, распростер исполинские крылья и через звездные сферы несется к шару Земли. И голос Божий его провожает. Бог видит, что эта черная тень приближается к Земле. Но победы сатана не одержит. Он проходит через всевозможные космические препятствия, бури, туманы, скалы... И вдруг мы чувствуем, что этот сатана вызывает у нас симпатию! Что это мощный герой, отважный космический путешественник, который способен был преодолеть (пусть ради мести, ненависти) и преодолел гигантские пространства, вторгается на нашу планету. Идет по ней и достигает райских садов — великолепных джунглей, где он блуждает в унынии, в отчаянии, находит людей — и совершается опять все та же драма.

Почему сатана у Мильтона выглядит симпатичным? Потому что в процессе поэтического творчества он перестает быть сатаной. Он становится просто героем борьбы за какую-то цель. И здесь Милтон вложил в него часть своей души — души несгибаемого борца! Пушкин восхищался в Мильтоне именно его стойкостью, его верностью принципам до конца жизни! На деле, конечно, это уже не дьявол, не сатана — это поэтический образ, отражающий душу человека, автора.

Замечательный момент в конце поэмы: когда Адам и Ева должны покинуть рай, ангел говорит им, что они найдут другой рай, они не будут жалеть об этом, покинутом. Есть рай: это любовь, это милосердие. Это будет рай внутренний. Рай внутри тебя. И он будет лучше, чем вот этот земной и внешний.

Во второй поэме, написанной вскоре, которая называется «Возвращенный рай», сатана уже полностью лишен героизации. Очевидно, сам поэт почувствовал эти невольно возникшие героические черты в своем черном герое и изобразил его иначе.

Он встречается с Иисусом Христом. Он уже богатый владелец всех соблазнов земли. Он предлагает будущему Избавителю мира пойти по пути славы, силы, удовлетворения всех желаний. Но Иисус побеждает все искушения, и сатана отступает. Отступает, потому что у него нет главного — нет величия духа. Все соблазны мира кроме величия духа!

В конце жизни Милтон пишет драму «Самсон — борец». Всей силой своей страсти прикидывает он к главной библейской истине: подлинная вера есть свобода! Христос говорил: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». С самого начала, когда Моисей провозгласил народу: «Выходите из дома рабства», начинается в Библии поход из рабства: из рабства греха, из рабства зла, из рабства самых серых, цепляющихся за человека начал. Свобода! Самсон выступает в поэме как народный герой. Его образ даже глубже, чем в библейском эпосе, потому что тоньше показаны его переживания, его всевозможные искушения. Он ослеплен врагами, он приведен в цирк на посмеяние, и он стоит там, думая о том, что отступил от Бога и вот теперь он у них в руках; ему выкололи глаза, он бессилен. Но вдруг Самсон вспоминает, что у него отросли волосы, которые дают ему необычайную силу. И он двумя руками сдвигает столпы-колонны, на которых держится все здание, и обрушивает их на себя и на врагов. Он предпочитает умереть, чем оставаться в рабстве. Этот пафос свободы взят из Библии и помножен на пафос борьбы духа, происходившей в тот смутный, великий и тревожный XVII век!

Все это напоминает нам грандиозные картины, мощные фрески, все это остается в памяти. Я думаю, не случайно мы можем возвращаться к этим темам, потому что вечные проблемы — они всегда были великими проблемами. И драма Адама — это наша общая драма! Человек выбирает свой путь. Он выбирает сегодня! Адам живет в нас и мы живем в Адаме — в первом человеке, в прачеловеке, в едином и единственном человеке. И то, что происходит в истории сейчас — между народами, внутри государств, внутри обществ, городов и семей, — это все та же драма человека и драма Адама.

Бог дал нам свободу, чтобы мы выбрали настоящий путь! Он не принуждает нас выбирать путь истины, но Он его открывает нам и указывает. И все зависит, как и тогда, от решения человека. В тот момент, когда Бог призывает нас, когда истина призывает нас, когда добро призывает нас, мы должны принять это решение, должны принять здесь и теперь, пока еще не поздно. Потому что само Священное Писание говорит нам о горьких и тяжких последствиях, которые влечет за собой отвлечение от истины, поворот в сторону лжи. И если раньше люди могли сомневаться в этих грозных предупреждениях, то сегодня мы с вами стали мудрей. Сегодня мы уже знаем: ничто не обходится безнаказанным в истории мира. И что ошибки отцов падают впоследствии как тяжелое бремя на детей и внуков. Мы часто задаемся вопросом: «Откуда это? Почему?» — и понимаем, что это ядовитое семя пару поколений назад было посеяно, и вот сегодня оно дало всходы.

Адам — библейский образ ответственности за все человечество, за всех людей. Великий закон солидарности людей накладывает на нас эту ответственность. Если мы будем забывать об этом, жестоки будут последствия. Так было, так и будет! Если мы будем об этом помнить, то развитие мира, развитие духа, путь истории будет выправляться. Я уверен, что это возможно! Я уверен, что еще не поздно! «Встань, спящий!» — говорит нам Священное Писание в Посланиях апостолов. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых! И воскресит тебя Христос!»

### **Библия и русская литература XVIII века**

В России XVIII век — время очень противоречивое. Жестокая петровская реформа ломала старые традиции, социальные структуры, разрушала устоявшиеся формы искусства, литературы. Сопровождалось все это острым церковно-религиозным кризисом, жестокими преследованиями старообрядцев, вторжением скептицизма, материалистических тенденций, различного рода хаотически-анархической мистики. Противоречивое время. Но если бы не было этого времени, то не было бы всей замечательной культуры XIX и XX вв. в России.

Несмотря на мрачный колорит петровской и непосредственно послепетровской эпохи, одна фигура Ломоносова показывает, что эта ломка была не зря. Хотя есть все основания думать, что и без этих варварских процессов открытость к мировой культуре в Московском царстве неизбежно должна была наступить — ибо ни искусство, ни наука, ни культура в целом не могут развиваться за железным занавесом, в изолированном мире.

В прежнее время, в эпоху средневековья, выход в широкий мир для Русской Православной Церкви и культуры Киевской Руси означал связь с Византией, с Болгарией, с христианским Востоком. Но вот наступает московская эпоха. В это время христианский Восток терпит жесточайшее поражение со стороны турок, со стороны мусульман, и не то чтобы совсем гибнет, но почти сломлен: Византия захвачена, собор Святой Софии превращен в мечеть, Болгария и Греция — под игом полумесяца. И в силу этого в России невольно происходит замыкание культуры, опасное замыкание.

И дело не в том, что Европа была каким-то спасительным местом, откуда должна была хлынуть сама живительная истина, а дело в другом: в нормальном мировом культурном организме необходимо кровообращение, необходим обмен идей, столкновение мнений — это очень важно для науки, для философии, для всего. Благодаря окну, прорубленному в Европу Петром I, это стало возможным. Это и породило новую литературу в России в XVIII в. и все дальнейшее бурное развитие науки, искусства, поэзии и так далее.

Какую же роль в литературе этого сложного периода играла Библия? Надо сказать, что в XVIII в. на Западе отношение к Библии у многих писателей стало негативным. Если в XVI—XVII вв. были такие поэты как Мильтон, Джон Донн, Гроций, Вондел, то XVIII век — это век скептиков или же век создателей новой мифологии типа Жан-Жака Руссо, — мифов о том, что все было прекрасно до тех пор, пока не пришла техническая цивилизация, или о том, что человечество неукоснительно и обязательно идет вперед, к прогрессу.

Теория прогресса, которая была создана французским историософом аббатом Тюрго и

подхвачена и развита Кондорсе (человеком, которого потом смолола машина революции), живет и теперь, и на Западе, и у нас. Однако для русской мысли и для русской литературы все это было не так просто. Произошло столкновение, произошла встреча многовековой исконной веры и новой науки, которая пришла в Россию, условно говоря, вместе с Ломоносовым и его окружением. Разумеется, было очень много и других людей, но Ломоносов как бы олицетворяет собой все это.

Кроме того, возникли новые социальные воззрения: если в прежние времена сословное деление было жестким, исконным (в высшем сословии можно было только родиться), то с петровского времени, когда появились многочисленные парвеню, люди, вышедшие из низов (вспомните хотя бы Меншикова и других), когда появляется новое дворянство, не имевшее знатных предков, все меняется. Одним из первых на это реагирует поэт Антиох Кантемир.

Антиох Дмитриевич Кантемир — сын известного молдавского господаря. Вы все знаете, что он был сатириком, что он писал первые в России забавные, весьма ядовитые вирши, он одним из первых в России начал клеймить охранительные тенденции, которые пытались остановить движение науки, литературы. Один из таких «охранителей» говорит в его произведении: «Расколы и ереси науки суть дети; больше врет, кому дано больше разумети».

Антиох Кантемир был большим знатоком Библии. Вместе со своим учителем И. Ильинским он составил первую в России симфонию к части Библии. Симфония, или конкорданция, — это такой словарь, по которому можно найти в Библии любое слово. Скажем, «вода»: вы находите, где в любой книге Библии употребляется слово «вода». Очень удобно для изучения Библии, для углубления в нее. Кантемир составил одну из таких симфоний, Ильинский ему помогал.

Кроме того, Кантемир опирался на библейское учение о человеке в развенчании сословного чванства. Для него это чванство было совершенно неоправданным, потому что Библия учит нас, что человеческий род един. Вот слова Кантемира:

Адам дворян не родил, но одно с двух чадо  
Его сад копал, другой пас блеющее стадо;  
Ной в ковчеге с собой спас все себе равных  
Простых земледетелей, нравами лишь славных;  
От них мы все сплошь пошли, один поранее  
Оставя дудку, соху, другой — попозднее.

То есть здесь отрицается роковое значение происхождения: все люди происходят от Адама, а потом — от Ноя.

Я не буду останавливаться на теме Ноя и всемирного потопа. В прошлый раз мы уже с вами говорили, что с Ноя летописец начинал русскую историю. Образ Ноя и его семьи — это образ нашей человеческой общности, святой образ, хотя он иногда вызывает улыбку у людей поверхностных.

Когда мы переходим к другим библейским темам, то находим, что почти все крупные писатели и поэты XVIII в. в России так или иначе отзывались на эти темы. Скажем, Василий Кириллович Тредиаковский. Он написал парафраз Песни Моисея, из Второзакония. Второзаконие — пятая Книга Торы, или Пятикнижия. Очень интересный древний текст. Чем он интересен? Все сказители античных времен, восточные сказители, говоря об истории, о прошлом своего народа, всегда останавливались на победах, триумфах, успехах — это было приятно вспоминать и об этом люди любили рассказывать из поколения в поколение. Естественно и понятно. Но вот Слово Моисея.

Когда Моисей с израильтянами перешел в Ханаан, предчувствуя свою смерть, он произнес пророчество. Это пророчество называется Песнь Моисея. Он не восхвалял народ, а обличал его. Он обличал его, как любящий отец обличает пороки сына. И в дальнейшем в традиции пророков, которая пошла от Моисея, мы все время находим этот неизменный мотив. Пророки не льстят толпе, они говорят всегда самые горькие истины. Поэтому их, естественно, нередко встречают камнями. Но кто был для народа важнее: пророки или те, кто сулили людям процветание, победы, мир? Пророки видели причины исторического зла, им был открыт нравственный миропорядок: то, что нравственное состояние общества — это не просто что-то безразличное к

миру, а что сеет человек (один или все общество в целом), то они и пожинают.

Третьяковский перелагал стихами Песнь Моисея не случайно, не просто ради забавы, для него это было поводом для раздумий над судьбами народа и историей. Он принял эту библейскую концепцию суровой любви к своей отчизне. Суровой, смотрящей правде в глаза. Это пошло не с XVIII в. Если вы помните, я вам рассказывал о митрополите Иларионе, первом русском митрополите XI в. В своем «Слове о законе и благодати» он обращается к киевлянам с горькими упреками; это боль души, это настоящая забота о народе.

Если мы обратимся к Ломоносову, то здесь будет исключительно интересна не только его поэзия, но и его взгляды как ученого. Мне кажется, все вы смотрели сериал «Михайло Ломоносов», который недавно шел по телевидению. Там есть момент, когда ученый смотрит в телескоп и видит прохождение планеты, и по ее очертаниям впервые ощущает, что это шар. Со священным трепетом смотрел Михайло Васильевич на этот маленький шарик, который медленно продвигался по светящемуся диску солнца. И тогда в нем возникли мысли, которые и сейчас бродят в сознании наших современников: а есть ли на этом шаре жизнь? а есть ли там разум? существуют ли там люди, подобные нам?

Над этим Ломоносов задумывался с богословской точки зрения. Он говорил: вполне возможно, что там есть человечество, но история его была иная, возможно, это человечество не находится в падшем состоянии, как наше. «При всем том, — говорит он, — вера Христова стоит непреложно». Нужно ли проповедовать Евангелие инопланетянам? Только если у них история была такой же трагичной, как у нас. Иначе все будет по-другому.

В статье «Явление Венеры на Солнце» Ломоносов пишет, что Творец дал нам две Книги: первая Книга — это Природа, и в ней Он отразил Свое величество, вторая Книга — Библия, в ней Он выразил Свою волю. Неправо, — говорит Ломоносов, — думают те, которые хотят изучать науку по Псалтири. Он, Михайло Васильевич, первым в России, следуя своим предшественникам, великим ученым XVII в., основателям современной механики, физики, астрономии (Галилею и другим), провел ясную демаркационную линию между рациональным научным познанием и откровением веры. У него наука не мешала вере, и вера не препятствовала науке. Ломоносов приводит суждения святых отцов, толкователей библейской истории миротворения, и говорит о том, как восхищались они сложностью природы. Он ссылается на «Шестоднев» Василия Великого и на других авторов аналогичных книг. «Шестоднев» — это комментарий к первой главе Книги Бытия, где рассказывается о шести днях творения. И Ломоносов говорит, насколько больше эти люди почерпнули бы данных из современной науки и насколько больше они прославили бы Творца. Чудесно то, что для Ломоносова вся природа была свидетелем о Боге. Он всегда подчеркивал, что между верой и знанием нет вражды, разве только кто-либо по неразумию будет клеветать, «склеплет», как он выразился, либо на науку, либо на веру. Таким образом, хотя у нас в «Философском словаре» 60-х годов его называют материалистом, он таковым никогда не был. Объективно это совершенно не соответствует действительности.

Я думаю, что хотя бы половина из вас читали его великие прекрасные стихи «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния» и «Утреннее размышление о Божием величестве». «Вечернее размышление» прекрасно; оно связано для него с чисто научной проблемой северного сияния. Однажды над Петербургом, как это бывает (правда, редко), вспыхнуло северное сияние; и вот ученые стали биться над вопросом: что это? Разгоревшийся пар? Какие-то лучи, идущие откуда-то? И Ломоносов кончает это стихотворение известными, я думаю, всем словами:

Сомнений полон ваш ответ  
О том, что окрест ближних мест.  
Скажите ж, коль пространен свет?  
И что малейших дале звезд?  
Несведом тварей вам конец?  
Скажите ж, коль велик Творец?

У Ломоносова есть удивительная интерпретация Книги Иова. В двух словах я остановлюсь

на содержании этой Книги. Большинство из вас ее читали или знают содержание. Но, тем не менее, повторю еще раз. Священный автор Книги Иова ставит перед читателем проблему невинного страдальца. Иов — человек, который ничем себя не запятнал перед Богом. И вот, когда с ним случились все несчастья, которые только могли случиться с человеком, — он потерял и дом, и имущество, и родных, и здоровье, — к нему пришли друзья, сели молча, сидели три дня, а потом Иов воскликнул: «Будь проклят день, когда я родился!» И начинается драма.

Иов не понимает, что произошло: его учили на протяжении долгого времени, что беда — это Божья кара, но за что же карать его, человека невинного? Автор Книги вводит пролог на небе (который потом использовал Гёте в своем «Фаусте»). Там иконоподобным образом изображено небесное царство: Творец сидит на троне, вокруг Него стоят сыны Божии, ангелы, как мы бы теперь сказали. И среди них — один, который все подвергает сомнению; и кажется ему, что род человеческий — довольно ничтожное образование. А Бог ему говорит: «А ты видел Моего служителя Иова?» Но ангел-скептик (сатан, так он называется по-древнееврейски, или сатана по-русски, но это пока еще не дьявол в обычном смысле слова) говорит, что он же не даром такой, у него же все есть: множество детей, любящая жена, куча верблюдов — все, о чем может мечтать человек. Происходит спор между этим ангелом и Богом. Конечно, вы должны сразу понять, что этот спор намеренно изображен автором в почти гротескной форме, чтобы мы не думали, что Бог может действительно заключать сделку с сатаной и что все это надо понимать буквально. Бескорыстно предан Богу этот человек или нет — вот в чем вопрос.

И вот Иов лишается всего. Автор Книги громоздит одно несчастье на другое и, наконец, Иов лежит уже на свалке, на помойке, и жена ему говорит: «Похули Бога и умри». А он говорит: «Бог дал, Бог взял». Стоит твердо, как стоик. Но когда к Иову приходят друзья, происходит взрыв. Любопытно, что Достоевский, тот, кто наиболее остро в русской литературе поднял проблему невинного страдальца, прошел мимо этого момента. Он заметил только терпение Иова. Дело в том, что в церковном чтении читается только пролог Книги Иова, а дальше не читается. И как-то так получилось, что от Федора Михайловича ускользнуло то, что Иов восстал против Бога, восстал и вызвал Его на суд, и друзья, которые у него сидели, были в ужасе. Они говорили: «Ты греховен, ты просто не знаешь своих грехов, ты не помнишь их! Бог не может быть несправедлив!» У них были старые, но четкие богословские понятия: зло карается, добро вознаграждается. Как в старых сказках, как в романтических повестях.

Вот они спорят, и спор доходит до полного накала, когда Иов говорит: «Я не хочу слушать, ваших пустых слов, посмотрите, что делается вокруг, насколько отвратительна жизнь: справедливости нет, господствуют люди безумные и злые, человек живет так недолго на свете». Там есть прекрасные слова о краткосрочности нашей жизни, о трудности человеческого бытия.

И друзья Иова в конце концов умолкают. Потом является Бог. Из тучи раздается Его голос. Он говорит: «Где этот человек, который вызывал Меня на суд? Препоясай свои чресла и отвечай Мне!» Что же отвечает Иов? — Он молчит. А Бог спрашивает его: «Где ты был, когда Я полагал основание небу и земле? Знаешь ли ты?..» — и далее идут прекрасные, поэтические, яркие описания природы, животных, растений, каких-то сказочных чудовищ и совершенно реальных живых существ, картинки из жизни египетских животных: бежит страус, бежит конь, дикий бык, который в нашем переводе называется единорогом.

И вот Бог говорит: «Можешь ли ты всем этим управлять? Как ты можешь решать тайны провидения?» Иными словами, автор Книги устами Бога не отвечает на загадку. Это глубоко целомудренный факт. Почему не отвечает? Ответ приходит потом — в явлении Бога в Новом Завете, когда Он страдал.

А что же Иов? Он сказал: «Я Тебя звал, я только о Тебе слышал, и вот я Тебя вижу! И теперь я раскаиваюсь и от всего отрекаюсь». Вдруг все вопросы у Иова исчезли, потому что он прикоснулся к Богу, он Его увидел. И в этом — непостижимая развязка этой Книги.

Ломоносов эту тему перефразирует по-своему. Он следует речи Бога в Книге Иова, но основная мелодия у него немного иная: она проще, она не столь мистична, как в Книге Иова. Я думаю, всякий любитель природы может это легко понять. В детстве я читал эти стихи и мне казалось, что Ломоносов уловил что-то очень важное. Называется эта ода «Выбранное из Иова».



О ты, что в горести напрасно  
На Бога ропщешь, человек,  
Внимай, коль в ревности ужасно  
Он к Иову из тучи рек!  
Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь град блистая  
И гласом грома прерывая,  
Словами небо колебал  
И так его на распрю звал:  
Сбери свои все силы ныне,  
Мужайся, стой и дай ответ.  
Где был ты, как Я в стройном чине  
Прекрасный сей устроил свет;  
Когда Я твердь земли поставил  
И сонм небесных сил прославил  
Величество и власть Мою?  
Яви премудрость ты свою!

Далее идет парафраз картин природы и кончается все моралью, которой нет в Книге Иова, она принадлежит только самому Ломоносову:

Сие, о смертный, рассуждая,  
Представь зиждителю власть,  
Святую волю почитая,  
Имей свою в терпении часть.  
Он все на пользу нашу строит,  
Казнит кого или покоит.  
В надежде тяготу сноси  
И без роптания проси.

Этого, повторяю, Бог не говорит в книге. А почему так написал Михаил Васильевич? Да потому что для него самого зрелище природы как откровение Божией мудрости очищало душу, возвышало, и человек на лоне природы, перед звездным небом и перед чудесами мироздания, забывал о своем горе, о своем малом горе земном. Он ощущал величие Вселенной, и на этом фоне ему дышалось легче и просторнее. Вечность звучала здесь. Это особый опыт ученого, это опыт многих других ученых, которые черпали религиозный энтузиазм из созерцания природы.

Двигаясь по XVIII веку, я мог бы останавливаться на ряде писателей, которые писали парафразы псалмов, но это не особенно типично и характерно. Переложения псалмов появлялись всегда, и в XVII (я вам говорил уже о Симеоне Полоцком), и в XIX, и в XX вв. А что было оригинального? Оригинальное и замечательное дал великий украинский мудрец Григорий Саввич Сковорода, человек, который заповедал написать на своем надгробном памятнике: «Мир меня ловил, но не поймал». Вечный странник. И в Киеве поучился, и за границей, кажется, побродил, ходил всюду с котомкой, в ней была только Библия и несколько любимых книг античных авторов.

Образованнейший человек — и в то же время народный человек. Уникальная личность, воспринимавшая все совершенно иначе, чем кабинетный ученый. Он пошел дальше Ломоносова. Ломоносов только декларировал: здесь знание и наука, а здесь вера, Священное Писание. Они идут параллельно, друг другу не мешая, а только поддерживая друг друга.

Григорий Саввич Сковорода смело подошел к труднейшим библейским вопросам. Он начал читать Библию поздно. Сам он пишет, что обратился к ней только в тридцать лет. Но, когда обратился, то пошел вглубь.

В нем было что-то мистическое, и в то же время он был сын рационального XVIII века. Это был ярчайший украинский самородок и одновременно гражданин Вселенной. Если такого автора перевести на какой-то международный язык, он всюду был бы чтим и понимаем, потому что проблемы, которые он ставил, — социальные, нравственные, философские, литературные — волновали все европейское человечество.

У Сковороды есть несколько небольших книжек, которые специально посвящены Библии. Первая книга, более общая, называется «Начальная дверь к христианскому добронравию», то

есть нравственности. Здесь мы находим понятие о вере в очень широком смысле слова. Григорий Саввич вовсе не считал, что язычник — это просто заблуждающийся дикарь. Сковорода очень тонко понимал, что вера — это отзвук истинного Бога в человеческом сердце. Отзвук не всегда точный, но все-таки отзвук. Он говорит: «Как теперь мало кто разумеет Бога, так не удивительно, что и у древних часто публичною ошибкою почитали вещество за бога и затем все свое богопочитание отдали в посмеяние». Он имеет в виду идолов (вещество). Текст довольно трудный, это своеобразный язык Сковороды: это и не церковнославянский, и не украинский, это особый язык. «Однако же в то все века и народы всегда согласно верили, что есть тайная некая по всему разлившаяся и всем владеющая сила. По сей причине для чести и памяти его по всему шару земному общенародно были всегда посвящаемы дома, да и теперь везде все то же». И дальше немножко ироническое сравнение: «И хотя, например, подданный может ошибкою почесть камердинера вместо господина, однако ж в том никогда не спорят, что есть над ним владелец, которого он, может статься, в лицо не видывал. Подданный его есть всякий народ, и равно каждый признает пред ним рабство свое. Такова вера есть общая и простая».

Поясню: человек может по ошибке воздать должное низшему чину, но на самом деле он воздает должное самому высокому чину, и если язычник почитает стихии, то в конечном счете это стремление человека к высочайшему началу, к высшему Творцу и Богу.

Далее он дает толкования на десять заповедей. Краткие, прекрасные, хочется все это зачитывать подряд. Глава пятая «О десятословии»: в чем смысл десяти заповедей? В том, что служение Богу более важно в нравственной сфере, нежели в ритуальной. Это очень важная мысль. Она была провозглашена Библией за тринадцать веков до нашей эры, и до сих пор люди не совсем ее понимают. А вот как прекрасно это понимал Григорий Саввич Сковорода: «Вся десятословия сила вмещается в одном сем имени — любовь. Она есть вечный союз между Богом и человеком. Она огонь есть невидимый, которым сердце распаляется к Божию слову или воле, а посему и сама она есть Бог.

Сия божественная любовь имеет на себе внешние виды, или значки; они-то называются церемония, обряд, или образ благочестия. Итак, церемония возле благочестия есть то, что возле плодов лист, что на зернах шелуха, что при доброжелательстве комплименты. Если же сия маска лишена своей силы, в то время остается одна лицемерная обманчивость, а человек — гробом раскрашенным. Все же то церемония, что может исправлять самый несчастный бездельник». То есть внешнюю сторону веры самый несчастный бездельник может выполнять, но главное ведь в ней — это дух.

Сковорода пишет книгу «Икона алкивиадская». Довольно странное название, не всем понятное. В одном из «Диалогов» Платона, в разговоре Сократа с Алкивиадом, Сократ сравнивается со шкафчиком, на дверце которого вырезан немного смешной уродливый силен (леший), и Сократ, который был внешне человеком забавным, — лысый, маленький, нос картошкой — выглядел как силен. А это был кладезь мудрости. Этот образ Алкивиадов (Алкивиад о нем так сказал) и послужил названием для небольшой книги Сковороды. Подзаголовок у нее «Израильский змий».

Что же такое «Икона алкивиадова» или «Израильский змий»? Это Библия. Сковорода подчеркивает, что часто внешние литературные формы Библии могут казаться нам странными, гротескными, вызывать протест разума; но напрасно думают люди, что она исчерпывается лишь этим. Как древний змий, обладающий мудростью, Библия содержит в себе великие сокровища, надо только уметь их найти. Тот, кто рассматривает Писание с внешней стороны, для Сковороды сторонник суеверия.

Он ненавидел суеверие. Он всегда об этом писал резкими горькими словами: «Нет вреднее, как то, что сооружено к главному добру, а сделалось растленным. И нет смертоноснее для общества язвы, как суеверие — листовое лицемерам, маска мошенникам, стень тунеядцам, подстрекало и поджог детоумным.

Оно возъярило премилосердную утробу Тита (этот римский император был, в общем, добрым человеком), загладило Иерусалим (то есть сравняло его с землей), разорило Царьград, обезобразило братнею кровью парижские улицы, сына на отца вооружило. И не напрасно Плутарх хуже безбожия ставит суеверие».

Для того чтобы отбросить суеверный подход к Библии, необходимо, — пишет Сковорода, — «благочестивое сердце между высыпанными курганами буйного безбожия и между подлыми болотами рабострастного суеверия, не уклоняясь ни вправо, ни влево, прямо течет на гору Божию и в дом Бога Иаковлева». То есть читатель Библии не должен идти ни по стопам суеверия, ни по стопам безбожия, а следовать Священному Писанию.

Сковорода очень тонко показывает, что литературная фактура Библии была взята из древнего Востока. Вот его буквальные слова: «Моисей, ревнуя священникам египетским (то есть подражая египетским жрецам), собрал в одну громаду небесных и земных тварей и, придав род благочестивых предков своих, слепил Книгу Бытия, сиречь мироздания... Сие заставило думать, что мир создан 7000 лет назад.

Но обительный мир касается тварей. Мы в нем, а он в нас обитает. Мойсейский же, символический, тайнообразный мир есть книга». Библия это книга-символ, и извлекать из нее точные даты истории мира, как и сейчас делают люди, бессмысленно. Вот чему учит нас в XVIII в. Сковорода.

«Сей есть природный стиль Библии! Исторической (то есть исторической) или моральной лицемерностью (то есть художественной игрой) так сплести фигуры и символы, что иное на лице, а иное в сердце. Лицо (то есть поверхность), как шелуха, а сердце есть зерно...»

Еще одна его небольшая книжка называется «Книжечка о чтении Священного Писания, нареченная Жена Лотова». Вы все знаете, кто такая жена Лотова. Примерно за четыре тысячи лет до нас в результате некой геологической катастрофы на берегах Мертвого моря произошло опускание суши. Там была группа городов, союз городов: Содом, Гоморра и другие. Они погибли, провалившись в асфальтовые ямы и, как рассказывает Писание, огонь шел с неба. До сих пор там эти асфальтовые ямы сохранились. Озеро это, Мертвое море, настолько соленое, что там не может жить никакая рыба. Эта история с Содомом дала священному автору повод поднять вопрос о тайнах Промысла Божия, рассказав одну из первых в мире историй чудесного посещения. (К истории божественного посещения обращались многие писатели, скажем, Михаил Булгаков. Пришел Воланд и его компания в Москву — посмотреть на нас, какие мы стали. Или у Герберта Уэллса пастор подстрелил ангела, который прилетел посмотреть, какова жизнь в викторианской Англии. Вот этот образ: приходит гость с неба, чтобы посмотреть на нас.) К Аврааму приходят три странника. Он принимает их и вдруг понимает, что это странники небесные и что идут они... куда же? В нечестивый Содом! Город, который уже тогда стал символом самых чудовищных преступлений. Идут проверить, действительно ли пришла пора этому городу погибнуть. А в Содоме жил Лот, племянник Авраама. И когда эти три странника отправились в город, Авраам побежал за ними, упал на колени и сказал: «Господин, а может быть, все-таки в этом городе найдется несколько десятков праведников? Не погубишь Ты их всех вместе?»

Вы все знаете, эта сцена — три странника — легла в основу знаменитой иконы «Троица». Иногда ее изображают с Авраамом, а на иконе, которую называют рублевской «Троицей» и приписывают кисти великого художника преп. Андрея Рублева, она без Авраама, как бы внеисторическая.

Авраам (этот древний человек, четыре тысячи лет назад!) произносит слова: «Ты не погубишь праведника с грешниками?» И этот таинственный странник говорит: «Нет, конечно. Если там найдется хотя бы несколько десятков добрых людей, город будет пощажён». И путник идет дальше. Но Авраам быстро сообразил, что едва ли столько найдется. «Господин мой, — кричит он, — может быть, там хоть десяток найдется?» — «И если десяток будет, то город останется». То есть Бог ждет до последнего. Вот отсюда праведники, на которых стоит мир. Но оказалось, что в Содоме их не нашлось. Был один только Лот, племянник Авраама. И Бог сказал: «Пусть Лот покинет этот город, но идет не оборачиваясь». Это огромный символ: сзади грохот, горит город, погружается в озеро, но ты иди и не оборачивайся, — символ большой глубины. И вот сказано в Писании: «И обернулась жена Лота и превратилась в соляной столб». Почему она обернулась? Ей было сказано: иди вон, стремись скорей вперед, но что-то ее там влекло. Для Сковороды это образ огромной важности — жена Лота. Не будь, как жена Лота, помни о ней, не обращай в Писании внимания на второстепенное. Вот почему так странно называется эта книга

— «Жена Лотова».

Только тот, кто будет смотреть в Библии на священное, поймет ее. «Две страны имеет библейное море. Одна страна (то есть сторона) — наша, вторая — Божия. На нашем берегу колосья пустые, а коровы худые, по другую же сторону моря и колосья добрые, и юницы избранные. Наш берег и беден и голоден, заморский же есть Доброй Надежды гавань, лоно или залив Авраама, место злачное, где весь Израиль пасется и почивает, оставив на голодной стороне содомлян». Кто перейдет на ту сторону моря? А вот кто: «И полечу и почию» (это слова псалмопевца). «Я полечу к Богу моему». «Я уснул, и спал, и встал». Вот и девица: «Под сень его пожелал и сел» (это слова девушки из Песни Песней, она бежит к возлюбленному). «Вся тварь (то есть все мироздание) есть сень привидения» (то есть образ. Заметьте, он говорит это в том же столетии, в котором Гёте написал «Фауста». Вы помните, как кончается «Фауст»? «Все преходящее есть только символ». Это было написано через несколько лет после смерти Сквороды. А он пишет: «Вся тварь есть сень привидения, а Бог есть дух видения. Вот тебе два Хвалынского моря берега: северный и южный,.. Поминайте жену Лотову!»

И наконец, мы подходим к рубежу XVIII в. — Гавриле Романовичу Державину. Он прожил сложную жизнь, пережил в старости войну 1812 г., видел в юности расцвет Екатерины и увлекался ею, думал, что она идеальная государыня, и пережил жестокие разочарования.

Гавриле Романовичу Державину принадлежит небольшая поэма о Творце мира, которая навеяна не только первыми стихами Библии о сотворении мира, но и всеми псалмами, которые говорят о мироздании как о явлении премудрости Творца. Это великая ода. Она переведена на десятки языков, только на французский, по-моему, — пятнадцать переводов, десять — на немецкий, есть перевод на японский. Я бы сказал, что по своей популярности эта ода, называемая «Бог», может почти равняться с «Божественной комедией» Данте, хотя она неизмеримо короче.

Далеко не всякий богослов, далеко не всякий философ и уж тем более не всякий поэт мог рискнуть взяться за такую тему. О чем только не писали люди! И о любви, и о природе, и о войнах, и о царях, и о нищих, и о птицах, и о древах, но вот этот человек, служивый человек, чиновник при Екатерине, написал о Боге так, как, пожалуй, никто из поэтов потом не сумел написать.

В Петрограде в 1922 г. мало кому известный физик Александр Фридман написал небольшую книжку «Мир как пространство и время». Эта книга, мало замеченная в свое время, совершила переворот в космологии. Опираясь на теорию Эйнштейна, Александр Фридман впервые создал модель горячей Вселенной, создал теорию большого взрыва — Вселенной, которая родилась из точки благодаря большому взрыву. Даже Эйнштейн не мог сначала принять этой модели, потом, через несколько лет, она была подтверждена бельгийским священником, астрономом, математиком Леметром и прочно вошла в современное естествознание. Сейчас ее уже не клянут, как кляли в дни моей студенческой юности, говорили, что это буржуазное изобретение, мракобесные рассуждения Эйнштейна и прочих. Про Фридмана вообще забыли, кто он такой, забыли даже, что именно он придумал эту теорию, но сейчас она является наиболее распространенной и ее принимают самые выдающиеся физики мира. Более того, альтернативная теория пульсирующей Вселенной имеет гораздо меньше последователей и, как говорили мне специалисты, она менее обоснованна.

Так вот, многие спрашивали меня, а какое же было мировоззрение у Александра Фридмана? Кто он был — материалист, идеалист? Это осталось загадкой. Умер он достаточно молодым, все это унеслось водой времен, но есть симптом: он приводит слова из Библии — «все мерою и числом сотворил еси» — и кончает словами из оды «Бог», такими словами:

Измерить океан глубокий,  
Сочечь пески, лучи планет  
Хотя и мог бы ум высокий, —  
Тебе числа и меры нет!

Кому — «Тебе»? Читатель в 1922 г. не сразу мог догадаться: может, он к Вселенной обращается? Но это были слова Гаврилы Романовича Державина, обращенные к нашему Создателю. Итак, читаю, хотя и не полностью, эту оду:

О Ты, пространством бесконечный,  
Живый в движеньи вещества,  
Теченьем времени превечный,  
Без лиц, в Трех Лицах Божества!  
Дух всюду сущий и единый,  
Кому нет места и причины,  
Кого никто постичь не мог,  
Кто все Собою наполняет,  
Объемлет, зиждет, сохраняет,  
Кого мы называем — Бог.

Измерить океан глубокий,  
Сочечь пески, лучи планет  
Хотя и мог бы ум высокий, —  
Тебе числа и меры нет!  
Не могут духи просвещенны,  
От света Твоего рожденны,  
Исследовать судеб Твоих:  
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает, -  
В Твоем величьи исчезает,  
Как в вечности прошедший миг.

Хаоса бытность довременну  
Из бездн Ты к вечности воззвал,  
А вечность, прежде век рожденну,  
В Себе Самом Ты основал:  
Себя Собою составляя,  
Собою из Себя сияя,  
Ты свет, откуда свет истек.  
Создавый все единым словом,  
В творенье простираясь новым,  
Ты был, Ты есть, Ты будешь век.

Далее он спрашивает: а что такое человек по сравнению с Творцом?

Как капля в море опущенна,  
Вся твердь перед Тобой сия.  
Но что мной зримая вселенна?  
И что перед Тобою я?  
В воздушном океане оном,  
Миры умножа миллионом  
Стократ других миров, — и то,  
Когда дерзну сравнить с Тобою,  
Лишь будет точкою одною:  
А я перед Тобой — ничто.

Ничто! — Но Ты во мне сияешь  
Величием Твоих доброт;  
Во мне Себя изображаешь,  
Как солнце в малой капле вод.  
Ничто! — Но жизнь я ощущаю,  
Несытым некаким летаю  
Всегда пареньем в высоты;  
Тебя душа моя быть чает,  
Вникает, мыслит, рассуждает:  
Я есмь — конечно, есть и Ты!

Ты есть! — Природы чин вещает,  
Гласит мое мне сердце то,  
Меня мой разум уверяет,  
Ты есть — и я уж не ничто!

Частица целой я Вселенной,  
Поставлен, мнится мне, в почтенной  
Средине естества я той,  
Где кончил тварей Ты телесных,  
Где начал Ты духов небесных  
И цепь существ связал всех мной.

Я связь миров повсюду сущих,  
Я крайня степень вещества;  
Я средоточие живущих,  
Черта начальна Божества;  
Я телом в прахе истлеваю,  
Умом громам повелеваю,  
Я царь — я раб — я червь — я Бог!  
Но, будучи я столь чудесен,  
Отколе произошел? — безвестен;  
А сам собой я быть не мог.

Твое создание я, Создатель!  
Твоей премудрости я тварь,  
Источник жизни, благ Податель,  
Душа души моей и Царь!  
Твоей то правде нужно было,  
Чтоб смертну бездну переходило  
Мое бессмертно бытие;  
Чтоб дух мой в смертность облачился  
И чтоб чрез смерть я возвратился.  
Отец! — в бессмертие Твое!

Двести с лишним лет назад написаны эти строки, но они живут и сегодня, несмотря на архаический язык.

А потом, спустя более четырнадцати лет, Державин написал еще одну оду. Он написал ее почти перед смертью. Ода называлась «Христос». Она была написана более сложным языком и уже не носила того космического характера, она была связана с тайной человеческой души. Надвигалась новая эпоха, когда человек волновался уже не столько проблемами космоса и мироздания, а волновался трагедией своего бытия. Это произведение не печаталось сто двадцать лет. Если оду «Бог» вы найдете в любом собрании сочинений Державина, то оды «Христос» вы там не найдете.

Вот уж поистине квинтэссенция библейской интерпретации! Конец не космичен, конец интимен. Поэт обращается к Христу, Который извлек человека из первородного падения:

Христос — нас Искупитель всех  
От первородного паденья.  
Он — Свет, тьмой неотъемлем ввек;  
Но тмится внутрь сердец неверья,  
Светясь на лоне у Отца.  
Христа нашедши, все находим,  
Эдем свой за собою водим,  
И храм Его — святы сердца.

О Всевяты́й! Превечный Сый!  
Свет тихий Божеския славы!  
Пролей Свои, Христе! красы  
На дух, на сердце и на нравы,  
И жить во мне не преставай;  
А ежели и уклонюся  
С очей Твоих, и затемнюся,

В слезах моих вновь воссияй!  
Услышь меня, о Бог любви!

Отец щедрот и милосердья!  
Не презрь преклоншейся главы,  
И сердца грешна дерзновенья  
Мне моего не ставь в вину,  
Что изъяснить Тебя я тщился, —  
У ног Твоих коль умилился  
Ты, зря с мастикою жену.

Кто такая «жена с мастикой»? Когда Христос пришел в дом фарисея, одна грешная женщина в знак покаяния драгоценными благовониями полила ноги Христа, упав к Его ногам. И свое покаяние Гавриила Романович излагает так.

Наступило время его смерти. И в это время он сосредоточился на главном. В уединенном имени умирал уже не бывший министр юстиции, не тайный советник, не статс-секретарь, а просто раб Божий Гавриил. Холодеющей рукой он стал писать свое последнее стихотворение, и оно в чем-то даже пронизательнее, чем надежда великого Александра Сергеевича Пушкина, который писал: «весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет...» Нет, старый Державин понимал, что не переживет. И на аспидной доске он написал последние строки:

Река времен в своем стремленьи  
Уносит все дела людей  
И топит в пропасти забвенья  
Народы, царства и царей.  
А если что и остается  
Чрез звуки лиры и трубы,  
То вечности жерлом пожрется  
И общей не уйдет судьбы!

И тут стило падает из его рук, и, когда приходят к нему утром, находят эту запись. Державин умер. Свеча еще горит.

Ходасевич, который написал о нем лучшую биографическую книгу, тонко заметил, что Державин хотел писать о Боге в последний раз. Первым словом маленького ребенка Гаврилы Державина было слово «Бог» и последним словом было тоже «Бог». Но он успел написать только о бренности преходящего, подражая великому библейскому автору Экклесиасту, а когда этой бренности хотел противопоставить небесный свет, то уже не смог.

Тот, кто видел лик Божий, должен умереть, — говорит Священное Писание. И мне кажется, что здесь произошло нечто подобное тому, что произошло с Данте, когда он заканчивал свой «Рай» в «Божественной комедии». Данте пишет, что, когда он пытался созерцать Бога, его высокое воображение вдруг иссякло: «Здесь изнемог высокий духа взлет»... Но в это время «страсть и волю мне уже стремил, как если колесу дан ровный ход, любовь, что движет солнце и светила». И Данте умер вскоре после того, как написал эти строки. Потому что это было высочайшим переживанием, это было выходом из временного в вечное.

Только великие праведники, великие провидцы, великие мудрецы достигают такого мгновения — и уходят в это мгновение. И я верю, что последний великий писатель России XVIII в., уже вступивший в XIX в., приветствовавший великого Пушкина, знавший Карамзина и всех, кто начинал эту литературу, был таким мудрецом, таким праведником. Он переложил на новый русский поэтический язык священные слова древней книги и так переложил, что по прошествии двухсот лет они продолжают жить и волновать нас сегодня. Потому что вечность стоит над преходящим, вечность касается нас и она делает нашу эфемерную жизнь причастной к бессмертию здесь и теперь.

## **Библия и русская литература XIX века** *Беседа первая*

Итак, дорогие друзья, мы почти заканчиваем наш краткий и беглый обзор. В последние наши встречи он будет особенно беглым, потому что, как ни странно, именно в XIX и в XX вв.

духовная проблематика и библейские сюжеты особенно прочно входят в ткань европейской, русской и всей мировой литературы. Если попытаться только перечислить названия стихотворений, поэм, драм, повестей, которые за истекшие двести лет были посвящены библейской проблематике, то подобное перечисление заняло бы очень много времени, даже без характеристики и цитат. Но наша задача — не исследовать все тщательно, а поговорить лишь об основных вехах.

В свое время Оноре де Бальзак, подводя итог «Человеческой комедии», отмечал, что вся эпопея написана им в духе христианской религии, христианских законов и права. Но на самом деле в огромном, многотомном произведении Бальзака христианского духа мало. В нем есть многое, это действительно панорама человеческой жизни, но жизни приземленной, погруженной в быт, страсти, порой мелкие, и взлетов мы не видим. То же самое можно сказать и о Гюставе Флобере, и о многих других западных писателях, у которых жизнеописания заслоняют вечные вопросы. Такова была динамика развития литературы на Западе в XIX в. В XX в. картина меняется и вновь начинаются поиски вечного.

Русская литература XIX в. в этом отношении выгодно отличается от литературы западной. Потому что на всем протяжении столетия, от Василия Жуковского до Александра Блока, она всегда была сосредоточена на жгучих нравственных проблемах, хотя и подходила к ним с разных точек зрения. Она всегда волновалась этими проблемами и редко могла остановиться только на бытописании. Писатели, которые ограничивались житейскими сложностями, оказывались оттесненными к периферии. В центре всегда были писатели, тревожащиеся проблемами вечного.

Не освещая эту тему во всей полноте, отметим лишь несколько вех.

Первая из них — В. А. Жуковский. Он еще подходил к Священному Писанию с кротостью и простодушием старинного человека. Человека, находившегося под влиянием немецкого пиетизма, благочестия, который перелагал, не мудрствуя лукаво, библейские сюжеты.

Совершенно иначе подходил к ним А. С. Пушкин. В начале творчества — период насмешек, вольтерьянства, скепсиса, отрицания. Поэт был тогда под влиянием модных в конце XVIII столетия вольнодумных произведений деистов и атеистов. Не задумываясь о вечных источниках человеческой жизни, юный Пушкин был способен написать кощунственную поэму «Гавриилиада», подражая, конечно, Вольтеру — «Гавриилиада» есть русский вариант «Орлеанской девственницы».

Озорной, живой, огненный Пушкин вовсе не думал кощунствовать. Его просто несло течением жизни, как может нести юношу, которому всегда кажется тяжким гнет людей слишком серьезных, слишком строгих, людей, которые давят. Чопорная цензура — для него это символ всего мертвящего. Потом он отрекся от «Гавриилиады». Отрекся не просто из страха: если взглянуть на его внутренний путь, то мы увидим, что это был вполне серьезный шаг. Перелом в его мировоззрении и внутренней жизни хронологически связан с женитьбой и с каким-то поворотом, который он отметил в своем стихотворении «Пророк».

«Пророк» — стихотворение, которое часто интерпретируют только в поэтическом смысле: как призыв к поэту. Может быть. Но оно — почти дословное повторение начала 6-й главы книги пророка Исайи.

О чем рассказывается в этом эпизоде библейской книги? Почему огненное существо, серафим должен был произвести такую болезненную операцию с человеком? Потому что человек, оказавшийся лицом к лицу с Богом, должен погибнуть, исчезнуть, раствориться! Пророк Исайя так и говорит: «Горе мне, я человек грешный, с грешными устами, живущий среди грешных людей». И Бог, посылая пророка на служение, вовсе его не утешает, не ободряет и не убеждает: «Ничего подобного, ты останешься целым». Бог молчаливо признает, что прикосновение к Его реальности для грешного человека смертельно. И чтобы не произошло этого обжигающего, опаляющего соприкосновения, огненный серафим меняет сердце человека, его уста, очищает его всего. И тогда человек становится проводником Божией воли.

Пушкин дополняет пророка, он передает ему свой внутренний опыт. И это не просто опыт поэта, это опыт ясновидца. У Исайи не сказано:

И внял я неба содроганье,



И горний ангелов полет,  
И гад морских подводный ход,  
И дольней лозы прозябанье.

И вот это космическое чувство, когда душа человека становится проводником всех влияний мира, всех нитей, которые связывают мироздание: божественное начало, природу живую и неживую, — уникальный опыт. Каждый человек в какой-то степени, в какой-то момент своей жизни его переживает или к нему прикасается. И пушкинское:

Встань, пророк, и виждь, и внемли,  
Исполни волею моею,  
И, обходя моря и земли,  
Глаголом жги сердца людей, —

это по-библейски, это согласуется с Ветхим Заветом: Бог повелел Исае и другим пророкам жечь сердца людей, вести их к покаянию и богопознанию. Но тут, я еще раз подчеркиваю, мы встречаем включение линии самого Пушкина, его интимного переживания. Это уже не парафраз поэтических строк пророка, а то, что Пушкин пережил сам.

Пушкину было тридцать лет. Это тот возраст в жизни человека, когда очень часто, особенно у людей одаренных, заметных, происходит как бы столкновение с иной реальностью. Один известный канадский психиатр, доктор Бекк, в конце прошлого века занялся исследованием биографий великих основателей религий, мистиков и философов и установил, что внутренний переворот происходил у всех примерно в том же самом возрасте, как у Пушкина. Даже Христос, как мы знаем из Евангелия, вышел на проповедь, когда Ему было около тридцати лет. Значит, этот возраст не случайный, а важный во внутреннем становлении человека.

По свидетельству А. О. Смирновой, Пушкин специально стал изучать древнееврейский язык, чтобы читать Ветхий Завет в подлиннике. У него возникла мысль перевести книгу Иова. Он начал писать поэму о Юдифи. «Юдифь» — это включенная в Библию героическая сага о женщине, которая спасла свой осажденный город, проникнув в лагерь, в становище врага. В нескольких строчках, которые сохранились от этого наброска, написанного незадолго до смерти, уже намечается образное видение Пушкиным двух миров: «Притек сатрап к ущельям горным» — то есть он идет снизу, а наверху, в вышине стоит Ветилуя, город, который не сдастся, город, который заперт и готов встретить удар врага.

Незадолго до смерти Пушкина в Петербурге вышла книга итальянского писателя Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека». Александр Сергеевич написал к ней предисловие. В нем он высказал свое отношение к Евангелию. Каждый из вас, кто хочет понять перемену, совершившуюся в Пушкине к концу его великой, бурной и трудной жизни, должен прочесть эти строки о том, что есть одна книга, каждое слово которой истолковано, изучено, но каждый раз, когда человек берет ее и принимает к ее мудрости и красоте, он обретает духовный мир.

Вскоре тема пророка возникает у М. Ю. Лермонтова. Вы помните его стихотворение «Пророк».

С тех пор, как вечный Судия  
Мне дал всеведенье пророка,  
В очах людей читаю я  
Страницы злобы и порока.

Почему это так? Разница глубокая. У Пушкина это было ясновидение Бога и мира, мгновение, которое переживал пророк; у Лермонтова — другая тема: ясновидение человеческого греха. Это горький дар, который отравляет пророку жизнь на Земле. Это тоже соответствует библейской модели, потому что пророки видели зло мира и обличали его беспощадно.

Не нужно думать, что пророки к этому подходили спокойно: им это было больно, они глубоко страдали от необходимости видеть зло и бичевать его. Иные думают, что пророки со своим обличением были просто людьми мрачными и неуживчивыми, но нет: многие были страдающими, ранимыми, тонкими, многие буквально сопротивлялись Божьему повелению идти

и «глаголом жечь сердца людей». Им не хотелось говорить горьких истин, но, подчиняясь Богу, они продолжали говорить.

Все эти фигуры — бессмертные, классические, для нас известные. А сегодня я хотел бы остановиться на личности, которая не всем в равной мере известна, но очень значительна, на человеке, который тоже прожил не очень долгую жизнь. Это Алексей Степанович Хомяков.

Он родился спустя пять лет после Пушкина и умер в 1860 г. Был он талантливый живописец, оригинальный богослов, философ, историк, острый публицист, создатель специфической теории раннего славянофильства (не надо путать с поздним, светским; это было раннее церковное, христианское славянофильство). Человек, оцененный всеми, в том числе противниками, которые очень уважали его, даже любили; например, А. И. Герцен пишет о нем с восхищением. Однако, несмотря на свою открытость к людям, Хомяков был плохо понят, его богословские сочинения были отвергнуты церковной Цензурой, большинство из них издавалось в «тамиздате», то есть на Западе, еще при жизни автора.

Хомяков был сельским хозяином, увлеченным помещиком, который изобретал различные новшества. Он был универсальным человеком: в какой бы области ни брался он за дело — всюду проявлялась его талантливость. Он изучал Библию, много писал о ней в своих публицистических, историософских, богословских работах, он даже перевел с греческого языка некоторые Послания из Нового Завета, писал рецензии на библейские труды, выходившие на Западе. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на два-три его стихотворения. Думаю, что немногие из вас знают эти стихотворения, очень глубокие и интересные.

Первое посвящено Ветхому Завету, оно называется «По прочтении псалма». Хомяков рассматривал Священное Писание не как книгу о далеком прошлом, а как книгу о сегодняшнем дне. Он взял 49-й псалом и написал его парафраз. А в скобках стоит: «На освящение Исаакиевского собора». До сих пор точно не установлено, действительно ли сам Хомяков поставил такое посвящение, но я думаю, что-то серьезное в этом есть. Кто из вас бывал в Ленинграде, знает, что Исаакиевский собор, подобно собору Святого Петра в Риме, — колоссальное сооружение, с огромными малахитовыми колоннами, с грандиозными светильниками, окнами, мозаиками, фресками. Он производит подавляющее впечатление.

После освящения храма Хомяков, читая Библию, 49-й псалом, написал такое стихотворение:

Земля трепещет; по эфиру  
Катится гром из края в край.  
То Божий глас; он судит миру:  
«Израиль, Мой народ, внимай!

Израиль, ты Мне строишь храмы,  
И храмы золотом блестят,  
И в них курятся фимиамы,  
И день и ночь огни горят.

К чему Мне пышных храмов своды,  
Бездушный камень, прах земной?  
Я создал небо, создал воды,  
Я небо очертил рукой!

Хочу — и словом расширяю  
Предел безвестных вам чудес,  
И бесконечность созидаю  
За бесконечностью небес.

К чему Мне злато? В глубь земную,  
В утробу вековечных скал  
Я влил, как воду дождевую,  
Огнем расплавленный металл.

Он там кипит и рвется, сжатый  
В оковах темной глубины;

А ваше серебро и золото —  
Лишь всплеск той пламенной волны.

К чему куренья? Предо Мною  
Земля, со всех своих концов,  
Кадит дыханьем под росой  
Благоухающих цветов.

К чему огни? Не Я ль светила  
Зажег над вашей головой?  
Не Я ль, как искры из горнила,  
Бросаю звезды в мрак ночной?

Твой скуден дар. — Есть дар бесценный,  
Дар, нужный Богу твоему;  
Ты с ним явись и, примиренный,  
Я все дары твои приму:

Мне нужно сердце чище злата,  
И воля, крепкая в труде;  
Мне нужен брат, любящий брата,  
Нужна Мне правда на суде!..»

Это было написано в 1858 г. Содержание стихотворения точно передает содержание псалма. Дух древних пророков как бы почил на русском поэте XIX века.

Размышления над Библией вызвали стихотворение «Звезды». Стихотворение посвящено Новому Завету. Новый Завет — произведение галилейских рыбаков — он сравнивает со звездами. Стихотворение было очень известно в прошлом, любой сборник, хрестоматия включали его. Сейчас оно забыто, поэтому я его вам тоже прочту.

В час полночный, близ потока,  
Ты взгляни на небеса:  
Совершаются далеко  
В горнем мире чудеса.  
Ночи вечные лампы  
Невидимы в блеске дня,  
Стройно ходят там громады  
Негасимого огня.

Но впивайся в них очами —  
И увидишь, что вдали,  
За ближайшими звездами,  
Тьмами звезды в ночь ушли.  
Вновь взглядишь — и тьмы за тьмами  
Утомят твой робкий взгляд:  
Все звездами, все огнями  
Бездны синие горят.

В час полночного молчанья,  
Отгнав обманы снов,  
Ты взглядишь душой в писанья  
Галилейских рыбаков, —  
И в объеме книги тесной  
Развернется пред тобой  
Бесконечный свод небесный  
Лучезарною красой.

Узришь — звезды мыслей водят  
Тайный хор свой вокруг земли;  
Вновь взглядишь — другие всходят,  
Вновь взглядишь — и там, вдали,

Звезды мыслей, тьмы за тьмами,  
Всходят, всходят без числа,  
И зажжется их огнями  
Сердца дремлющая мгла.

Стихотворение написано не случайно, это не игра воображения. Каждый, кто читал строки Нового Завета, знает о волшебном свойстве этого текста. Я читаю его уже много лет, много десятилетий, и каждый раз открываю в нем новое и новое: такое впечатление, что читаешь в первый раз.

Волновала Хомякова и еще одна тема: сила духа и сила власти и насилия. Он всегда думал о том, как изображен Христос. Он победитель в Новом Завете, но победитель, который не унижает, который не сокрушает, который сохраняет человеческую свободу. Величайший дар, который отличает нас от животных, — это свобода, и Бог бережно подходит к ней. Поэтому явление Христа происходит без насилия над личностью и совестью человека. Христос всегда оставляет человеку возможность повернуться к Нему спиной. Так было, поясняет Хомяков, в те древние времена, когда Христос явился на Земле. И так это совершается и теперь. Стихотворение, которое я хочу вам прочесть, не имеет названия, его называют «Широка, необозрима» — по первой строке. Начинается картина с входа Иисуса Христа в Иерусалим, когда народ приветствовал Его.

Широка, необозрима,  
Чудной радости полна,  
Из ворот Иерусалима  
Шла народная волна.  
Галилейская дорога  
Оглашалась торжеством:  
«Ты идешь во имя Бога,  
Ты идешь в свой царский дом!  
Честь Тебе, наш Царь смиренный,  
Честь Тебе, Давидов Сын!»  
Так, внезапно вдохновенный,  
Пел народ. Но там один,  
Недвижим в толпе подвижной,  
Школ воспитанник седой,  
Гордый мудростию книжной,  
Говорил с усмешкой злой:  
«Это ль Царь ваш, слабый, бледный,  
Рыбаками окружен?  
Для чего Он в ризе бедной,  
И зачем не мчится Он,  
Силу Божью обличая,  
Весь одеян мрачной мглой,  
Пламенея и сверкая  
Над трепещущей землей?..»  
И века прошли чредою,  
И Давидов Сын с тех пор,  
Тайно правя их судьбою,  
Усмиряя буйный спор,  
Налагая на волнение  
Цепь любовной тишины,  
Мир живет, как дуновенье  
Наступающей весны.  
И в трудах борьбы великой  
Им согреты сердца  
Узнают шаги Владыки,  
Слышат сладкий зов Отца.  
Но в своем неверье твердый,  
Неисцельно ослеплен,  
Все, как прежде, книжник гордый  
Говорит: «Да где же Он?»

И зачем в борьбе смятенной  
Исторического дня  
Он приходит так смиренно,  
Так незримо для меня,  
А нейдет, как буря злая,  
Весь одеян черной мглой,  
Пламенея и сверкая  
Над трепещущей землей?..»

Два полюса четко намечены. Они были в евангельские времена, они остаются и сегодня. Это один из главных стержневых моментов Библии — свобода и насилие. И Хомяков точно их определяет.

И, наконец, стихотворение, написанное незадолго до смерти, о душе, на мотив Евангелия от Иоанна о воскрешении Лазаря. Стихотворение так и называется «Воскрешение Лазаря».

О Царь и Бог мой! Слово силы  
Во время оно Ты сказал, —  
И сокрушен был плен могилы,  
И Лазарь ожил и восстал.

Молю, да слово силы грянет,  
Да скажешь: «встань!» душе моей, —  
И мертвая из гроба встанет  
И выйдет в свет Твоих лучей;

И оживет, и величавый  
Ее хвалы раздастся глас  
Тебе — сиянью Отчей славы,  
Тебе — умершему за нас.

Вы, конечно, помните, что И. С. Тургенев, хотя он и не был христианином, нередко задумывался над тайной Евангелия. Он был дружен с замечательной русской женщиной А.Н. Бахметьевой, писательницей для юношества, написавшей во второй половине прошлого века блестящие книги по истории Русской Церкви, по истории древней Церкви, по библейской истории. Стихотворение, посвященное ей, вошло в его роман «Дворянское гнездо». Среди его стихотворений в прозе есть маленькое эссе «Христос». Напомню вам его. Герой стоит в храме, в толпе, и вдруг остро ощущает, что рядом с ним стоит Христос. Он поворачивается и видит человека: борода, простое, обычное лицо, обычная одежда. Не может быть! Он отворачивается и снова чувствует, что это Он! И так несколько раз. И потом он говорит себе: а почему же я сомневался? Ведь, может быть, действительно, Он должен выглядеть так, как все. Без помпы, без декоративных украшений. Простой и незаметный, как все. С великой силой!

Образ Христа внутренне стоит в центре творчества Ф. М. Достоевского. Среди его бумаг, дневников есть запись: «Написать роман об Иисусе Христе». Роман он не написал, но можно сказать, что всю жизнь он его писал. Достоевский пытался воссоздать образ Христа в современной обстановке — это роман «Идиот». Можно спорить с ним, но он увидел Его таким, как князь Мышкин. Евангельский Христос не таков, однако что-то великому писателю удалось уловить. Святой юродивый — в нем всегда есть печать света. Но реальный Христос не был юродивым.

Решил эту проблему Достоевский гениально, как никто из писателей. Вспомните Легенду о Великом инквизиторе в «Братьях Карамазовых». Инквизитор говорит о счастье человечества, о будущем мира: люди обретут счастье, но у них будет отнята свобода. Старик-инквизитор говорит и говорит — а Христос молчит. И ощущаешь подлинность образа Христа именно потому что Он молчит. Когда я в первый раз читал этот роман (я учился тогда в десятом классе), я думал: вот сейчас Он скажет слово — и погаснет все очарование присутствия, реальности, сразу ощутится, что это имитация. Но нет, Он не произнес ни слова. Не сказал ни единого слова, как и тогда, стоя перед Пилатом в последний момент. И это дивная реальность, именно Божия реальность.

У Достоевского в том же романе есть замечательная глава «Из записок старца Зосимы» — глава о Библии, о Священном Писании в жизни старца Зосимы. Пересказывать ее бесполезно — надо прочесть ее. Я только напомню вам слова, которые произносит писатель устами своего героя: «Что за книга это Священное Писание, какое чудо и какая сила, данные с нею человеку!.. Гибель народу без слова Божьего». Найдите, прочтите, я думаю, что у большинства из вас «Братья Карамазовы» есть.

И для Алексея Константиновича Толстого, замечательнейшего русского поэта и деятеля, тоже, как мне кажется, недостаточно оцененного, библейский идеал был идеалом свободы, борьбы за правду, за человеческое достоинство и справедливость. Его поэма «Грешница» не взята непосредственно из евангельского текста, ее сюжет — из легенды, вполне правдоподобной, которая сложилась вокруг евангельской истории. Те, кто бывал в Русском музее, помнят картину Семирадского «Грешница». Согласно этой легенде, некая весьма распущенная особа, узнав о проповеди Христа, сказала, что на нее-то Его слово не подействует, а когда ее спросили: «Может, Он придет к тебе — Он часто приходит к людям, которых все презирают?» — она ответила: «Ну что ж, я сразу, с порога, преподнесу Ему бокал вина». И, как рассказывает предание, она действительно так и пыталась поступить.

Когда Иисус из Назарета вошел в ее дом, она взяла бокал, но, когда Он взглянул на нее, она уронила этот бокал и в ней произошел перелом. Эта поэма говорит о влиянии Слова Божия на внутренний мир человека.

Но более всего духовный мир писателя, понимание им основ христианского мирозерцания отражены в известном стихотворении «Против течения». Многие из вас смотрели телепередачу об А. И. Цветаевой и ее подругах — они это стихотворение цитировали.

Почему оно связано с Библией? Потому что Авраам, отец верующих, шел против течения. Потому что Моисей, дарователь Закона, шел против течения. Потому что пророки Божии шли против течения. И Сам Господь Иисус и Его апостолы шли против течения. В своей поэме А. К. Толстой связывает это с современной ему борьбой утилитаристов против искусства, литературы, он выступает против утилитаристов, которые призывали писать только на практические гражданские темы.

В оные ж дни, после казни Спасителя,  
В дни, как апостолы шли вдохновенные,  
Шли проповедовать слово Учителя,  
Книжники так говорили надменные:  
«Распят Мятужник! Нет проку в осмеянном,  
Всем ненавистном, безумном учении!  
Им ли, убогим, идти галилеянам  
Против течения?»

Други, гребите! Напрасно хулители  
Мнят оскорбить вас своею гордынею —  
На берег вскоре мы, волн победители,  
Выйдем торжественно с нашей святынею!  
Верх над конечным возьмет бесконечное,  
Верю в наше святое значение.  
Мы же возбудим течение встречное  
Против течения!

Так понимал Алексей Константинович Толстой один из центральных мотивов Священного Писания.

Мы не можем, конечно, обойти и его великого однофамильца, графа Льва Николаевича Толстого. Когда Лев Толстой преподавал в школе, он писал, что не надо детям пересказывать Библию: это книга человечества, ее надо читать такой, как она есть. Но потом он не устоял — слишком творческий был человек — и он начал создавать свою религию, свое Евангелие. Он отбросил Ветхий Завет, потом отбросил Послания апостолов, потом из Евангелия выкинул все то, что не умещалось в рамки рационального, поверхностно понимаемого, научно объяснимого (хотя он сам науку презирал, но тут почему-то под гипнозом научности сдался). И получилось

поразительное явление: книга, написанная непрофессионалами (евангелисты ведь были непрофессионалы), оказалась несоизмеримо выше того, что написал великий мировой гений литературы. Евангелие Толстого так же мало похоже на подлинное Евангелие, как бледная тень на великий шедевр. Помню, я когда-то просматривал книгу XIX в. по истории искусства. Тогда еще не было фотогравюр, а были контурные рисунки. Там я увидел Сикстинскую Мадонну в виде контуров. Представляете себе, что такое контурный рисуночек Сикстинской Мадонны и сама она в подлиннике? Это чуть-чуть напоминает то, что сделал Толстой с Евангелием.

Я надеюсь, что в скором времени будут издавать религиозные книги Толстого. Почему я говорю, что надеюсь? Потому что истина не боится встречи лицом к лицу со своими оппонентами. И то, что Толстого с его религиозным учением долго прятали, означало, что его боялись. До революции цензура была одна, у нас — другая; впрочем, до революции религиозно-философские книги Толстого все-таки печатались, пусть с огромными купюрами, причем на месте купюр ставили точки, чтобы каждый грамотный человек понимал, что здесь исключено какое-то количество страниц. В наше время эти труды вошли в академическое издание Толстого в 90 томах, которое практически было и остается недоступным для широкого читателя.

Таким образом, у Толстого нет Евангелия, а есть искажение Евангелия. Евангелия — не сборники поучений, а неподражаемо, в несколько мазков, написанный образ Христа, волнующий людей уже двадцать столетий. У Толстого это исчезло, а остались пресные назидания и мораль, которые были и у Сенеки, и у Марка Аврелия, и у Конфуция. И Толстой, когда потом составлял толстый том «Круга чтения», поместил в нем их изречения, причем он поступил с ними так же свободно, «творчески», как и с Евангелием. Поэтому их учения оказались похожи на учение Толстого, будь то Конфуций, будь то Евангелие, будь то Талмуд или Ларошфуко.

## **Библия и русская литература XIX в. Беседа вторая**

Вторая половина XIX в. ознаменовалась деятельностью многих крупнейших русских писателей, охватить их всех в одной лекции нам не удастся. Я хотел бы остановиться сегодня только на трех главных именах в литературе этого периода: на Федоре Достоевском, Льве Толстом и Владимире Соловьеве.

Достоевский еще в молодости задумал книгу, посвященную центральной библейской тематике. Среди его черновиков, планов, набросков есть такие строки: «Написать книгу об Иисусе Христе». Книга не была написана. Однако все творчество Достоевского так или иначе было об этом, о главной христианской истине, о трагедии столкновения этой истины с жизнью, с историей, с проблемой мирового зла.

У Достоевского было совершенно особенное, исключительное отношение ко Христу, такое, что, если бы истина, как говорилось тогда, была не на стороне Христа, он предпочел бы остаться с Ним против истины. А споры об этом были в юности, когда Достоевский примыкал к группе петрашевцев, которые полагали, будто изменение общественной структуры, изменения в обществе могут изменить души человеческие, могут создать рай на Земле.

Впоследствии, в «Сне смешного человека», библейский образ рая трансформируется, как и образ грехопадения. Как вы помните, гармоническое состояние человека, которое описывает Библия, нарушается искушением змея, который предлагает человеку стать как Бог. А в «Сне смешного человека» мы видим уже последствия грехопадения, то есть невозможность людей жить гармонично и радостно; даже когда все счастливы, вирусы, микробы зла распространяются и способны всё погубить.

Когда мы говорим о библейской тематике в творчестве Достоевского, конечно, первое, что приходит на ум, это «Преступление и наказание». Когда мы говорим о Божьем наказании, то оно в расхожем лексиконе часто представляется в виде некой карательной инстанции. Тем не менее это совсем не так: есть нечто таинственное, внутреннее, что Достоевский и хотел показать.

Раскольников убивает, проливает кровь, идя против древней библейской заповеди: «Не убий». Он ставит под сомнение ее абсолютность. С точки зрения расхожего представления, мы желаем думать: вот, он убил — и пришла внешняя кара. Но внешней кары нет. Родион Раскольников прекрасно мог уйти от ответственности и фактически ушел — никто не мог

доказать его причастность к убийству старухи-процентщицы. Но вы все помните, что он говорил потом: «Я же не старуху убил, я себя убил. Так-таки себя и ухлопал навеки». Оказывается, убийство — это выстрел в себя, удар в себя. Заповедь «не убий» — не механический заслон, а глубочайший нравственный миропорядок, который дан человеку. В этом смысле важны слова Писания: «Мне отмщение, и Аз воздам», которые, как вы помните, Толстой поставил эпиграфом к «Анне Карениной».

Отмщение приходит к Раскольникову как внутренний процесс, внутренняя катастрофа и потребность внутреннего очищения, то есть покаяния. Кстати сказать, сам процесс покаяния Достоевский не раскрывает. В этот момент он описывает Раскольникова уже извне.

А рядом с ним Соня Мармеладова — живая иллюстрация к евангельским словам о блудницах, которые идут впереди праведников. Нам кажется, что эти слова Христа парадоксальны, но вот перед нами живой, конкретный образ святой женщины, которая является при этом профессиональной проституткой. Только великий мастер слова, знаток человеческих душ мог показать чистоту сердца этой женщины, ее жертвенность, самоотдачу, перед которой бледнеет и совершенно испаряется память о ее мрачной и печальной профессии, на которую Соню толкнула жизнь. И когда Родион Раскольников просит Соню прочесть ему из Евангелия о воскрешении Лазаря, и она читает, Достоевский пишет: «...убийца и блудница сошлись над этой вечной книгой». Но в том-то и дело, что он не простой убийца, а человек, который хотел испытать, действительно ли эта заповедь абсолютна. Именно в то время перед несчастным Фридрихом Ницше стояла проблема: можно ли человеку идти по ту сторону добра и зла, можно ли выбросить за борт священные заповеди? И вот Достоевский показывает героя, который понял, что он не может это сделать.

Перед нами человек сложный, думающий, несчастный. В сущности, ничего от убийцы в нем нет. Он не пронизан ненавистью. Он убил эту женщину, старуху, вовсе не потому, что у него был аффект человеконенавистничества. У него была идея, как у многих героев Достоевского. В конце романа Достоевский не описывает подробно, что же с ним происходит, но в Сибирь Соня дает ему читать Евангелие, и Раскольников берет его с собой. С ним он будет жить. Он надеется, что жизнь к нему вернется после покаяния и искупления...

Вы помните, как в «Бесах» умирающий старик говорит: «О Боже, я же читал только Ренана, я никогда не читал самого Евангелия». Очень многие интеллигентные люди того времени могли сказать так, как сказал Верховенский. Евангелие для тогдашней интеллигенции часто было просто открытием.

В литературе мысль изобразить Христа перед обществом наиболее полно воплотилась в романе «Идиот». Это образ таинственного князя, который приходит в мир, в присутствии которого людям становится отрадно, легко, в присутствии которого им не хочется делать зло и причинять друг другу боль. Многим из вас, вероятно, не раз приходилось задумываться, если вы читали Евангелие, — а что такое: «Будьте как дети»? Что это значит: инфантилизм, примитивность какая-то? Надо быть глупым, чрезмерно доверчивым? Трудно ответить на этот вопрос. Это нечто почти невыразимое. Конечно, Спаситель Иисус Христос не имел в виду ни инфантилизм, ни примитивность — Он имел в виду нечто, что сумел изобразить Достоевский в князе Мышкине: какую-то открытость, чистоту, простоту, наивность, но совершенно без глупости, прозрачное сердце, отзывающееся на чужую боль, даже на чужой стыд. Бывало ли вам когда-нибудь стыдно за другого человека, когда тот совершает зло? И то, что за него так стыдно, это уже — детская открытость, ибо взрослый человек постепенно покрывается сначала иммунной корой, а потом толстой непробиваемой броней — и его уже не возьмешь ничем.

И наконец, «Братья Карамазовы». Там есть специальная глава «О Священном Писании в жизни отца Зосимы». И есть там такие проникновенные слова: «Гибель народу, — говорит герой, а его устами и сам писатель, — гибель народу без слова Божия... Что за книга это Священное Писание, какое чудо и какая сила, данные с нею человеку! Точно изваяние мира и человека и характеров человеческих, и названо все и указано на веки веков. И сколько тайн разрешенных и откровенных...». Найдите это место в романе «Братья Карамазовы». Я думаю, у многих, почти у всех, есть этот роман. Посмотрите там эти проникновенные строки: «Гибель народу без слова Божия!» Под словом «народ» он подразумевал вовсе не простолюдинов или малограмотных



людей. Народ для него — это все люди, вся нация сверху донизу, и она должна жить на основании высочайшего идеала. Пусть он сегодня недостижим, но он притягивает к себе, как магнитом, он выстраивает пирамиды человеческих ценностей, он становится притягательной силой и двигателем нравственного прогресса, прогресса любви. Любовь созидает, любовь творит, любовь делает жизнь счастливой, потому что она превращает одного человека в драгоценность для другого. Вот почему мы считаем ее источником счастья, а Евангелие говорит о том, что Бог есть Любовь. И это не просто привязанность, открытость, а это чудо, которое рождается в человеке, может родиться, но может и не родиться. У Достоевского есть такое определение ада: «Ад — это страдание о том, что нельзя уже более любить».

В этом же отрывке Достоевский восхищается эпической мощью Священного Писания. Живые образы, история Иосифа, который проходит через все испытания, сохраняя себя перед Богом, история Иова...

Но тут происходит нечто странное, нечто загадочное в творчестве и личности Достоевского. Если уместно так сказать (вы меня поймете), Книга Иова является прообразом той части «Братьев Карамазовых», которая называется «Бунт». Иван Карамазов восстает против зла, бушующего в мире, он возвращает Богу «Его билет», он бушует, сидя перед братом Алешей. Достоевский должен был бы вписаться в Книгу Иова, потому что она как раз о том самом: бунт за две с половиной тысячи лет до Ивана Карамазова был поднят Иовом, — а Достоевский пишет так, словно он этого не знал. Это парадоксально, странно, необъяснимо. Он пишет с умилением и восторгом о красоте этой Книги, вспоминает начало ее первой главы: «Был человек в земле Уц, имя его Иов...»

У нас в храмах Великим Постом (когда по старинной традиции людей готовили к крещению), читается Библия, Ветхий Завет. И именно начало Книги Иова читается в эти дни за литургией Преждеосвященных даров: «Был человек в земле Уц, имя его Иов...» И говорится в этом начале о терпении его, когда он твердо и мужественно выносил ниспосланные на него несчастья и говорил: «От Бога я принимал добро, приму и зло, буду терпеть». «Терпение Иовле слышасте» (в синодальном переводе: «Вы слышали о терпении Иова» Иак 5:11), — говорится в одном из канонов церковных. Но Библия говорит о другом: терпение Иова и его торжество, «хэппи энд», триумф его истории — лишь рама для самой главной картины, сама же эта картина — тяжба Иова с Богом, такая же, как у Ивана Карамазова.

Что отвечает Алеша на бунт Ивана? Он не развивает какую-то стройную и сложную богословскую теорию, а смотрит на него с глубокой любовью, с большим состраданием, сопереживает ему. Оказывается, человека можно просто понять сердцем — и этого будет уже достаточно, потому что в глубинах мироздания все решено гораздо более стройно, чем наш ограниченный интеллект способен себе представить.

Иван Карамазов разворачивает перед своим братом легенду о Великом инквизиторе. Легенда эта построена на том, что Христос отвергает искушения сатаны, но является инквизитор и хочет осуществить то, что Христос отверг.

В истории литературы, как и в иконописи, мало действительно убедительных и ярких образов самого Иисуса Христа. Недаром Достоевский, задумав написать книгу об Иисусе Христе, не смог этого сделать. Художественно воплотить это оказалось не по силам, но образ Христа в легенде о Великом инквизиторе поразительно убедителен, чувствуется Его реальное присутствие. Но только потому, что Он молчит.

Христос молчит, а инквизитор перед Ним развивает свои теории. Он говорит: «Мы исправим Твой подвиг, мы дадим людям хлеб, мы дадим им счастье, насильственное счастье». А Христос — молчит. Так же как Алеша Карамазов не возражал своему брату, так Христос не возражает безумствующему перед Ним старику инквизитору и под конец подходит и целует его. Целует за великое страдание. Как старец Зосима поклонился Мите Карамазову, предчувствуя великое страдание его жизни и души, так Христос поцеловал этого безумного старика за его страдания, потому что он тоже двойственная фигура, потому что в нем, в этом очерствелом палаче, скрыта любовь к людям, только это любовь ложная — она хочет навязать людям счастье насильно. «Железной рукой загоним человечество в счастье!» — был такой лозунг в 20-е — 30-е годы в нашей стране. Этот лозунг он хотел осуществить.

Достоевский рисует инквизитора в виде средневекового католического прелата; но, конечно, настоящим римским инквизиторам, настоящим католическим прелатам и в голову не приходило кого-то загонять в счастье. Это более широкая идея, это идея антиевангельская, ибо спасение человека от зла предусматривается как нечто совершающееся без человека, вопреки его воле, автоматически. Мне всегда вспоминается известный ответ Бердяева, когда его спросили, может ли Бог создать камень, который Он сам не в силах сдвинуть (был такой антирелигиозный софизм). Если Бог всемогущ, то как Он его не сдвинет? А если не может создать, значит, не всемогущ. Но Бердяев мгновенно ответил: да, такой камень есть, и этот камень — человек.

Бог дал человеку свободу и без свободы его не спасает. Для Достоевского Евангелие и Библия в целом были вестью о свободе человека, и поэтому Христос противостоит Великому инквизитору.

Рядом с Федором Михайловичем мы видим другого исполина литературы XIX в., тоже подошедшего к проблеме человеческого счастья и тоже ищущего в Евангелии и Библии ответы на эти вопросы. Это Лев Николаевич Толстой.

Многие люди недооценивают его религиозных исканий. Они, несомненно, глубоко искренни, мучительны. Но то, что человек, почти в течение тридцати лет считавший себя проповедником Евангелия, оказался в конфликте с христианством, даже отлученным от Церкви, показывает, что Толстой был очень сложной фигурой, трагической и дисгармонической. Он, воспевший такие мощные гармоничные характеры, сам был человеком, страдавшим от глубинного душевного кризиса. Те из вас, кто хоть немного знаком с его биографией, должны вспомнить тот ужас, который он пережил в Арзамасе. Это был ужас смерти, и даже хуже, чем ужас смерти.

Сначала, когда он обращался к Священному Писанию, его, как и Достоевского, пленяла эпическая сила Библии. Он писал, в частности, в своей статье «Яснополянская школа», что для детей читать Священное Писание (он читал им сначала Ветхий Завет) — дело святое, потому что это книга детства человечества. Поскольку статья эта малоизвестна, я вам приведу несколько строк. «Мне кажется, — пишет он, — что книга детства рода человеческого всегда будет лучшей книгой детства всякого человека, заменить эту книгу, мне кажется, невозможно, изменять и сокращать, как это делают в учебниках Зоннтага и прочее, мне кажется вредным. Все, каждое слово в ней мне кажется справедливым, как откровение, справедливым, как искусство. Прочтите по Библии о сотворении мира и по краткой Священной истории, и переделка Библии в Священной истории вам представится совершенно непонятной. По Священной истории нельзя иначе, как заучивать наизусть, по Библии ребенку представляется живая величественная картина, которой он никогда не забудет». Интересная мысль, хотя во все века люди все-таки старались перелagать Библию, в частности, для детей.

Толстой погружается в Ветхий Завет, даже изучает древнееврейский язык, чтобы читать его в подлиннике, потом все это бросает. Он обращается только к Новому Завету. Ветхий Завет для него оказывается просто одной из древних религий. Но и в Новом Завете его многое не удовлетворяет. Апостол Павел и его Послания кажутся ему церковным извращением истины, и он приходит к четырем Евангелиям. Но и здесь ему все оказывается не то, и он как бы идет на конус, уменьшая и уменьшая то ценное, что есть в Библии. Он выбрасывает из Евангелия чудесное, сверхъестественное; он выбрасывает высшие богословские понятия: «В начале было Слово», Слово как божественный космический Разум — Толстой говорит: «В начале было разумение»; Слава Христова, то есть отражение вечности в личности Христа, — для Толстого это учение Христа.

Почему произошло так, что он странным образом искажал евангельский текст? Причина одна. Еще в молодости Толстой записал в дневнике: «У меня есть цель, важнейшая цель, которой я готов отдать всю свою жизнь: создать новую религию, которая бы имела практический характер и обещала бы добро здесь, на Земле». И Евангелие оказалось для него лишь чем-то подтверждающим его собственную религиозную концепцию. В чем она заключалась?

Безусловно, существует некая таинственная высшая сила. Едва ли она может считаться личной: скорее всего, она безличная, потому что личность — это нечто ограниченное. (Заметьте, Толстой, создававший великолепные образы человека, бывший сам ярчайшей личностью

мирового масштаба, был принципиальным имперсоналистом, то есть не признавал ценности личности. Вот отсюда и его представление о ничтожной роли личности в истории — вы помните, как это отразилось в «Войне и мире».) Это некое высшее начало каким-то непонятным образом побуждает человека быть добрым.

«Верю ли я в Бога? — писал Толстой в 1900 г. — Не знаю, но я верю в то, что надо быть добрым и это есть высшая воля». «Добро по отношению к людям — это заповедь всех верований с древнейших времен», — писал он. Разумеется, в чем-то он был прав. Ведь это же есть и в христианстве, и в буддизме — всюду.

По Толстому, Христос проповедовал разумную здравую жизнь: разумно быть добрым по отношению к людям, разумно отбросить груз цивилизации, которая угнетает человека, разумно трудиться своими руками. «Христос учит нас, — пишет он, — не делать глупостей». Эта фраза Толстого из книги «В чем моя вера?» (я не говорю сейчас о том, что она примитивна) ясно показывает, что он хотел сказать: только здравый смысл — вот что является основанием Евангелия. И это радикально отличается от Евангелия, совсем не в этом его суть: Христос приходит к нам, чтобы открыть Свое сердце, а через него — вечность, чтобы открыть личностную тайну Божества, которая отражается в бесконечно ценной личности каждого из нас. Именно поэтому все время говорится во всех Евангелиях: Он пришел, чтобы спасти каждого, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. Не какое-то коллективное человечество, не какая-то безликая масса, а каждый. «Я стою у двери и стучу», — говорит Христос, — у двери сердца каждого человека! Этот глубочайший персонализм Евангелия был чужд умственному миру Толстого (хотя как художник он его изображал).

И Толстой пишет свое Евангелие. Многие из вас, может быть, впервые и познакомились с Евангелием через толстовское переложение. Вы должны помнить, что, во-первых, это парафраз, то есть совершенно свободное изложение, во-вторых, парафраз, сознательно искажающий смысл в Духе учения Толстого; в-третьих, это не Евангелие, а фрагменты Евангелия, скомпонованные в некий связный текст, из которого изгнаны почти все моменты, обрисовывающие личность Иисуса Христа. Там присутствует только Его учение. Недаром Максим Горький после встречи с Толстым писал, что о Будде он говорит возвышенно, а о Христе как-то сентиментально, видно было, что он не любит Его, хотя, может, и восхищается. И это можно проверить, если посмотреть некупированные издания философских произведений Толстого: о Спасителе он говорит там часто грубо, вульгарно, даже кощунственно. Так он не сказал бы о дорогом существе, например, о родной матери, а именно так надо обращаться со святыней.

Свое Евангелие Толстой пытался представить как истинное христианство. Между тем это была религия, скорее близкая к стоицизму или конфуцианству. Она связана с философской традицией, идущей от Лао-цзы до Жан-Жака Руссо, портрет которого Толстой носил на шее вместо креста с юных лет. Руссо был убежден, что все зло от цивилизации, он думал, что дикарь лучше нас. Жизнь показала, что и цивилизованный дикарь, и нецивилизованный — равны друг другу: человек всегда есть человек. Дело не в цивилизации, мы напрасно корим ее. Виновен человек. В тех трагедиях, скажем, экологических, которые сегодня мучают весь мир, повинен человек. Если бы люди относились иначе к природе и друг к другу, и к земле, то техника не была бы столь человекоубийственной.

Толстой видел трудности и в семейной жизни, и так же, как с цивилизацией, он поступил с ней сурово. Фактически он отрицал любовь, брак, пол — он, человек, который до седых волос мог с упоением писать о любви и страсти. Вспомните «Воскресение». Местами это занудно-дидактическая книга, но страницы о любви Нехлюдова написаны так, что нельзя даже представить себе, что это писал старик, — их словно бы писал юноша!

Конечно, у вас возникает вопрос: был ли прав Синод, отлучив его? Все-таки был прав. Во-первых, мы должны сразу сказать, что эти сентиментальные истории о том, как анафематствовали Толстого, или как некий дьякон должен был провозгласить ему анафему, а вместо этого вскричал «Многая лета», — досужие домыслы. Просто был обнародован весьма краткий и, в сущности, сдержанный в выражениях текст «Определения Синода», в котором говорилось, что Лев Толстой, всемирно известный писатель, учит некой религии, которую он выдает за христианство. Кстати, Толстой — сторонник непротивления и любви — был крайне

груб в антицерковной полемике, несдержан, даже ожесточен, я бы сказал, переходил все границы. В Определении сказано, что этот человек считается находящимся вне Церкви, что было правдой. Сам Толстой в своей брошюре «Ответ Синоду» писал: да, совершенно справедливо, что я отпал от Церкви, которая считает себя Православной. Это была просто констатация факта. Никому в голову не приходило отлучать от Церкви нехристиан, скажем, буддистов, живших в России, — их было немало — или мусульман, которых были миллионы. Потому что они были нехристиане. Толстой же утверждал, что он исповедует христианство, и Синод был обязан во всеуслышание сказать, что его христианство не совпадает с христианством Евангелия и Церкви.

Хотя Толстой говорил, что в Евангелии мистическая сторона — наносная и является искажением, мы должны помнить, что эта сторона была главной в Церкви еще до того, как были написаны Евангелия. Никаких напластований! Сначала открылась тайна Христа, потрясшая учеников. Никакое не учение! Рассуждений на тему морали было много у самых разных философов и мудрецов — иудейских, греческих, римских... Тайна Христа была совсем в ином: через Него Вечность заговорила с человеком. И уж потом люди стали записывать Его нравственные поучения. Здесь дистанция огромная.

И все же мы можем сказать, что Толстой был в чем-то прав, потому что он обратил внимание христианского общества на пренебрежение важными элементами учения Христа. Он обратил внимание на равнодушие светской публики. Вскоре после его смерти выдающийся богослов Сергей Николаевич Булгаков писал, что Толстой проповедовал в эпоху духовного кризиса и всколыхнул совесть общества — он был призван к этому. Поэтому, несмотря на искажения, которым подверглась Библия в его учении, серьезный подход Толстого к Евангелию вызывает не только уважение, но и заслуживает того, чтобы учиться у него.

Он много спорил с молодым тогда философом Владимиром Соловьевым. Один из очевидцев рассказывает, как это было. Обычно Толстой побеждал в спорах, но тут нашла коса на камень. Соловьев, закованный в броню философской диалектики, так наступал на Льва Николаевича, что всем стало как-то неловко, ибо Толстой впервые не торжествовал и был вынужден сдаться. Правда, не признал себя побежденным, но всем было видно, что он не знает, что возразить. Для Владимира Соловьева, который родился позже Толстого, а умер раньше (1853 — 1900), Священное Писание было основой всего его творчества — поэтического, философского, богословского, публицистического.

Я думаю, что многие из вас уже слышали о Владимире Соловьеве, иные из вас читали его произведения, но я хотел бы обратить ваше внимание на несколько строк, которые вообще никогда не были у нас опубликованы. Толкуя Священное Писание, Владимир Соловьев говорил так: «Вера моя в Божественный, точнее Богочеловеческий характер Писания значительно выиграла в сознательности и отчетливости благодаря знакомству с новейшей критикой, преимущественно отрицательной школы». То есть научная критика Библии не только не смутила его, но и помогла ему глубже подойти к Писанию.

После Хомякова Соловьев был одним из первых, кто главный христианский догмат о Богочеловечестве приложил к Библии. Во Христе, подлинном Человеке, живет подлинный Бог. Так же как и в Писании: его автор — человек, поэт или прозаик, — все равно сохраняет свои особенности, хотя на него действует Дух Божий. «Как в живом Логосе, — пишет Соловьев, — Божество нераздельно-неслиянно соединено с человечеством, так нераздельно и неслиянно соединены божественные и человеческие стихии в писаном Слове Божиим. И как во Христе человеческая природа представляется не одной только внешностью, так и в Священном Писании элемент человеческий состоит не только из внешнего материала, языка, письмен, а распространяется на все содержание, обнимая самую душу и разум Писания».

Владимир Соловьев написал своеобразное толкование на Ветхий и Новый Завет. Это книга «История и будущность теократии». Толковал он по оригиналу. Греческий язык он хорошо знал с юности, был переводчиком Платона, но он изучил также древнееврейский язык и все цитаты из Библии приводил в собственном переводе с оригинала. Соловьев рассматривал библейскую историю как историю утверждения божественных принципов не только в душах человеческих, не только в нашей личной жизни, но и в обществе. Теократия означает «богвластие» — как высший идеал, чтобы в общество проникала священная идея солидарности, братства,

духовности; без духовности общество будет деградировать.

Библия навеяла Соловьеву целый ряд стихотворений и частично «Повесть об Антихристе». Умирая накануне XX столетия, предчувствуя, подобно пророку, грядущие катастрофы, которые ожидали наш тревожный век, он в книгу «Три разговора» включил «Повесть об Антихристе», своеобразную антиутопию, в которой вселенский диктатор готов сохранить и христианство, но только чисто внешнее, без Христа. Памятники, иконы, искусство, научные, богословские мнения, но — без Христа. Все реалии этого повествования взяты из Апокалипсиса апостола Иоанна. Так через отражение Библии завершилось творчество Соловьева.

В поэзии Соловьева есть два стихотворения, на которые я хотел бы в заключение обратить ваше внимание. Одно стихотворение называется «Кумир Небукаднецара». (Он как филолог произносил имя вавилонского царя Навуходоносора как Небукаднецар. Так правильно — так его в древности называли. Навуходоносор — это грецизированная форма имени.) Согласно библейскому сказанию, Навуходоносор (он жил в VII—VI вв. до Р. Х.) произвел реформу богослужения, чтобы все видели идола и падали перед ним ниц. Но Библия, рассказывая о поклонении этому истукану, отнюдь не останавливается на каких-то исторических реалиях. Было много всяких событий, религиозных реформ, но Соловьеву важно, что это символ мятежа человека против Неба.

Он кликнул клич: «Мои народы!  
Вы все рабы, я — господин,  
И пусть отсель из рода в роды  
Над нами будет бог один.

В равнину Дуры вас зову я.  
Бросайте всяк богов своих  
И поклоняйтесь, торжествуя,  
Сему созданию рук моих».

Толпы несметные кишели;  
Был слышен мусикийский гром:  
Жрецы послушно гимны пели,  
Склонясь пред новым алтарем.

И от Египта до Памира  
На зов сошлись князья земли,  
И рукотворного Кумира  
Владыкой жизни нарекли.

Он был велик, тяжел и страшен,  
С лица как бык, спиной — дракон,  
Над грудой жертвенною брашен  
Каильным дымом окружен.

И перед идолом на троне,  
Держа в руке священный шар,  
И в семярусной короне  
Явился Небукаднецар.

Он говорил: «Мои народы!  
Я царь царей, я Бог земной.  
Везде топтал я стяг свободы, —  
Земля умолкла предо мной.

Но видел я, что дерзновенно  
Другим молились вы богам,  
Забыв, что только царь Вселенной  
Мог дать богов своим рабам.

Теперь вам бог дается новый!

Его святил мой царский меч,  
А для ослушников готовы  
Кресты и пламенная печь».

И по равнине диким стоном  
Пронесся клич: «Ты бог богов!»,  
Сливаясь с мусикийским звоном  
И с гласом трепетных жрецов.

В сей день безумья и позора  
Я крепко к Господу воззвал,  
И громче мерзостного хора  
Мой голос в небе прозвучал.

И от высот Нахараима  
Дохнуло бурною зимой,  
Как пламя жертвенника, зрима,  
Твердь расступилась надо мной.

И белоснежные метели,  
Мешаясь с градом и дождем,  
Корою льдистою одели  
Равнину Дурскую кругом.

Он пал в падении великом  
И опрокинутый лежал,  
А от него в смятенье диком  
Народ испуганный бежал.

Где жил вчера владыка мира,  
Я нынче видел пастухов:  
Они творца того кумира  
Пасли среди его скотов.

Восстание против Истины, против Бога истинного, против тирании, против культов — для Соловьева это очень важная тема. Она отразилась в стихотворении, которым я завершу нашу сегодняшнюю встречу. Соловьев видел в Библии соединение Востока и Запада. Восток — это, с одной стороны, жестокая деспотия, а с другой стороны, — это свет Вифлеемской звезды, звезды Христовой. Запад — это активность человека, мужество, гражданство, демократия, свобода. Они столкнулись за пять веков до нашей эры, когда войска иранского деспота Ксеркса вторглись на Балканы, пытаясь подчинить демократические Афины. Огромные армии наемников двинулись и встретили отпор у Фермопильского ущелья. Всего триста человек с царем Леонидом во главе отразили огромную армию в узком горном проходе.

Для Соловьева это старинное историческое событие стало образом того, как свобода, гражданственность, мужество и демократия противостоят тирании и азиатской деспотии. Стихотворение называется «Ех oriente lux» («Свет с Востока»).

«С Востока свет, с Востока силы!»  
И, к вседержительству готов,  
Ирана царь под Фермопилы  
Нагнал стада своих рабов.

Но не напрасно Прометея  
Небесный дар Элладе дан.  
Толпы рабов бегут, бледнея,  
Пред горстью доблестных граждан.

И кто ж от Инда и до Ганга  
Стезю славною прошел?  
То македонская фаланга,

То Рима царственный орел.

И силой разума и права —  
Всечеловеческих начал —  
Воздвиглась Запада держава,  
И миру Рим единство дал.

Чего ж еще недоставало?  
Зачем весь мир опять в крови?  
Душа Вселенной тосковала  
О духе веры и любви!

И слово вещее — не ложно,  
И свет с Востока засиял,  
И то, что было невозможно,  
Он возвестил и обещал.

(Имеется в виду свет Вифлеемской звезды. — *А. М.*)

И, разливаясь широко,  
Исполнен знамений и сил,  
Тот свет, исшедший от Востока,  
С Востоком Запад примирил.

О Русь! в предвиденье высоком  
Ты мыслью гордой занята;  
Каким ты хочешь быть Востоком:  
Востоком Ксеркса иль Христа?

Этот вопрос для Соловьева был очень важным, потому что он считал, что библейская история не кончена, что борьба света и тьмы продолжается, что в истории народов сталкиваются не только экономические интересы, не только политические страсти, а подлинные духовные полярности. Поэтому так важно, чтобы отдельные люди и духовные движения, и целые народы принимали участие в становлении духа, в его борьбе против порабощения, косности, безразличия, бездуховности, смерти, тьмы. Чтобы Дух шел как борец!

### **Библия и западная литература XIX века**

В XIX веке, в его начале, бури потрясали душу европейского человека. Рушились вековые основы многих представлений. Радикально менялась одежда, которая была привычной для людей в течение столетий, менялись уклад семьи, быт, представления о многих вещах — и самых элементарных, и самых грандиозных. Начали рушиться монархии, Великая французская революция привела к еще большей тирании, чем прежде. Но потом все-таки история и человеческий разум уравнивали эту анархию, этот ужас, и мир начал развиваться под знаком новых горизонтов.

В литературе, живописи, поэзии возникает течение, которое принято называть романтизмом. Европа открывает для себя уже не только древний классический мир, как в XVIII в., но открывает для себя средневековье, христианскую культуру Запада, свою же собственную культуру. В литературе на первом месте стоит французский поэт и прозаик Шатобриан, который подходит к христианскому наследию, прежде всего к Библии, с эстетической точки зрения. Он хочет показать, что именно со Священным Писанием в Европу пришло новое эстетическое мироощущение. «Да, — пишет он, — прекрасен Гомер, которого мы все любим, прекрасен Вергилий, прекрасны принципы античной поэтики; но вы не думайте, что когда на смену им пришли христианские книги и христианская культура, то пришли варварство и мрак». Горделивое сознание людей эпохи Просвещения действительно третировало христианскую культуру, для них только античность была эталоном.

Шатобриан пишет поэму в прозе. (Если у Пушкина был роман в стихах, то Шатобриан, его

старший современник, пишет поэму в прозе). Поэма называется «Мученики». Там происходит встреча юных любящих душ, молодого человека и девушки, на фоне борьбы нарождающегося, молодого христианства с угасающим язычеством. Язычество в диалогах влюбленных выступает как вечная красота, как носитель самых совершенных форм гармонии — пластической, архитектурной, живописной, поэтической. И можно было думать, что оппонент начнет говорить, что все это суэта, дело не в красоте, а дело в добре и вере. Но ничего подобного. Христианство, в лице юного существа, отвечает тоже своего рода художественным манифестом. Юноша говорит: да, прекрасны мифы Греции, да, прекрасны произведения Гомера, но столь же прекрасны герои Ветхого Завета, столь же прекрасно и бессмертно Евангелие, — именно с художественной точки зрения.

В других своих книгах Шатобриан сравнивает язык, поэтику античности и Библии и показывает, что их огромное различие вовсе не означает, что одно есть совершенство, а другое — варварство. А просто в древнюю кровь языческого Запада вливается новая, тоже древняя кровь христианского Востока. Это вхождение в нашу культуру некоторых совершенно особых, исконных, древних элементов, уходящих в архаические, прачеловеческие пласты духовности и культуры. Шатобриан останавливается на конкретности, лаконичности, поразительной образности древнееврейского библейского языка, который, конечно, уступает греческому в способности передать тонкие повороты мысли, но обладает лаконизмом латинского языка и как бы живет: каждое слово в нем — живое существо, оно очень многогранно, многопланово, многолико.

Начало XIX столетия — период «Бури и натиска», период Наполеона, период великих потрясений и войн, героики и разочарования в тиранах. Поэтов, драматургов, прозаиков очень привлекает Ветхий Завет благодаря его титаническим, мощным образам.

Прежде всего я хотел бы остановиться на Байроне. Байрон с детства читал и любил Библию. И вплоть до самой его гибели в Греции Библия всегда была у него на столе, он был с ней неразлучен. Он постоянно над ней размышлял, он находил в ней мотивы, близкие своей душе, горькой, трагической, иногда озлобленной и в то же время способной познать величие истины. Байрон был очень сложный человек, его творчество нельзя трактовать односторонне. Недаром его так глубоко любил и ценил Пушкин. Если бы он был просто мизантропом и гулякой, как его видело современное ему английское общество, едва ли Александр Сергеевич так высоко ценил бы его. Конечно, на Байрона была мода, и в кабинете Онегина «лорда Байрона портрет» — непременный аксессуар всякого скучающего денди. Но ведь мода — вещь не простая.

Мало кто занимался философией и историей моды. мода — это вульгаризированное, упрощенное выражение глубинных процессов, серьезных, основательных процессов, которые происходят в обществе. Пускай отражение почти карикатурное, но все-таки отражение.

мода на Байрона — это не случайность. Это отражение трагизма жизни людей, переживших величайшую духовную катастрофу. Какую же? Дело в том, что в течение XVII—XVIII вв. всевозможные просветители, энциклопедисты, утописты обещали людям, что, если только они свергнут монархов, разгонят и перебьют феодалов, сразу явится воцаренное, явится красота жизни. И вот свершилось. Казнили одного бездарного короля, казнили другого короля... Короли-то лишились голов, но общество продолжало терзаться многочисленными тяжкими недугами. И глубоко чувствовавшие и мыслящие люди стали догадываться, что не так-то все просто решается. Это вызвало и напряженный поиск, и болезненное разочарование, горечь, и воинствующий пессимизм, как бы обиду на Творца.

Байрон создал три произведения на библейские темы. Первое — в расцвете лет, в 1814—1815 гг.; он назвал его «Еврейские мелодии». Это цикл стихов, который предназначался для создания одним музыкантом, другом Байрона, небольших музыкальных произведений на библейские темы. Тут и мрачный Экклезиаст, который показывает, что человек напрасно обольщает себя, тут и невеста из «Песни Песней», тут и скорбная дочь Иеффая, которая приносит себя в жертву ради своего отечества, тут и рухнувшие амбиции завоевателя в стихотворении «Ассирийцы пришли, как на стадо волки». (Это стихотворение переведено Алексеем Константиновичем Толстым.) Этот момент описан у пророка Исая: полная катастрофа Иерусалима, город осажден, вся земля вокруг захвачена, и царь, уже обессиленный,



идет к пророку и спрашивает: «Что делать? Открыть ворота? Сдаться?» И вдруг пророк, который всегда говорил о том, что нужно прекратить войну, отвечает: «Нет, город устоит, потому что у вас есть вера, и Господь через меня посылает вам знамения». И потом сказано, что посланник, вестник Божий, проходит по стану ассирийцев, и они убираются вон. До сих пор никто не знает, что там произошло, по одним свидетельствам, это была чума, по другим — мятеж в ассирийском лагере. Так что царю пришлось вернуться. И Байрон воспел торжество Духа Божия над человеческой военной силой.

Мы с вами уже касались трагической судьбы Саула, печального героя Книги Царств. Царь Саул привлекал внимание Байрона. Он без конца перечитывал сцену последних часов Саула, когда он вызывает дух своего умершего учителя Самуила, который предсказывает ему гибель. Одно из стихотворений о Сауле прекрасно перевел Лермонтов. Оно называется «Душа моя мрачна». Это слова, сказанные Саулом, когда он в припадке глубокой меланхолии зовет юного Давида и просит его взять в руки арфу и играть, чтобы успокоилась его душа:

Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!  
Вот арфа золотая:  
Пускай персты твои, промчавшись по ней,  
Пробудят в струнах звуки рая.  
И если не навек надежды рок унес,  
Они в груди моей проснутся,  
И если есть в очах застывших капля слез —  
Они растают и прольются.  
Пусть будет песнь твоя дика. — Как мой венец,

Мне тягостны веселья звуки!  
Я говорю тебе: я слез хочу, певец,  
Иль разорвется грудь от муки.  
Страданьями была упитана она,  
Томилась долго и безмолвно;  
И грозный час настал — теперь она полна,  
Как кубок смерти, яда полный.

Байрон всегда был тираноборцем. Он любил свободу и, как вы знаете, умер за свободу Греции. Когда он умирает, Библия была у него на столе.

Байрона особенно привлекала Книга пророка Даниила, этот библейский манифест свободы совести — первый в истории! Эта книга о тиранах, которые хотели заставить людей отречься от Бога, и о тех, кто предпочел стоять насмерть: погибнуть в огне, в печи вавилонской. Даниила бросают в львиный ров, но львы его не трогают. Даниила извлекают из этого рва, и, когда царь веселится и пирует, уже подходят его враги, и на стене внезапно появляются три огненных слова, которые чертит невидимая рука. Это пир Валтасара, последнего вавилонского принца. И, конечно, Байрон не мог пройти мимо такого замечательного эпизода, когда пирует тиран, а под ним уже трещит престол.

Царь на троне сидит;  
Перед ним и за ним  
С раболепством немым  
Ряд сатрапов стоит.  
Драгоценный чертог  
И блестит и горит,  
И земной полубог  
Пир устроить велит.  
Золотая волна  
Дорогого вина  
Нежит чувства и кровь;  
Звуки лир, юных дев  
Сладострастный напев  
Возжигают любовь.  
Упоен, восхищен,

Царь на троне сидит —  
И торжественный трон  
И блестит и горит...  
Вдруг — неведомый страх  
У царя на челе  
И унынье в очах,  
Обращенных к стене.  
Умолкает звук лир  
И веселых речей,  
И расстроенный пир  
Видит (ужас очей!):  
Огневая рука  
Исполинским перстом  
На стене пред царем  
Начертала слова...  
И никто из мужей,  
И царевых гостей,  
И искусных волхвов  
Силы огненных слов  
Изъяснить не возмог.  
И земной полубог  
Омрачился тоской...  
И еврей молодой  
К Валтасару предстал  
И слова прочитал:  
Мани, фекел, фарес!  
Вот слова на стене,  
Волю Бога с небес  
Возвещают оне.  
Мани значит: *монарх,*  
*Кончил царствовать ты!*  
*Град у персов в руках -*  
Смысл средней черты;  
Фарес — третье — гласит:  
*Ныне будешь убит!..*  
Рек — исчез... Изумлен,  
Царь не верит мечте.  
Но чертог окружен  
И... он мертв на щите!..

Таков первый, ранний библейский цикл Байрона, созданный в 1814 г. В начале 20-х годов он пишет две мистерии на темы Книги Бытия. Одна, мрачнейшая, передает состояние безнадежности его души — это мистерия «Каин». Дьявол показывает Каину весь мир и убеждает его, что мир — бессмыслица. Вторая мистерия, «Небо и земля», — о потопе. Это грандиозная и тоже мрачная вещь. Как вы знаете, пролог Книги Бытия полон сумрачных вещей, потому что он дает нам модель человеческой жизни, модель ответа человека на божественную благодать, ответа очень жалкого. Человек в Книге Бытия изображен мятежником, но не гордым мятежником, а рабом, который не может подавить в себе рабства и восстает. Это бунт раба. Все это мучительные и трудные коллизии, которые Байрону были очень близки. Он пишет сцены предпотопного периода. Сейчас для нас это так важно, потому что на самом деле он показывает ситуацию предкризисную, когда наступает общая экологическая катастрофа, когда мир возвращается в хаос и дикие темные духи ликуют и злорадствуют, что наконец этот гадостный человек будет убран с лица земли, что он не сумел жить на Земле. Люди не внимают предупреждениям, и сколько бы ни стремились сыновья Ноя остановить их, они продолжают жить как прежде, продолжают на что-то надеяться, на что-то рассчитывать. И небо ясное — ничто не предвещает потопа. Но где-то уже собираются тучи, которые обрушатся на землю грандиозным ливнем.

Все эти романтические картины переходят в поэзию следующего поколения, но уже с некоторой иронией. Та серьезность, с которой молодые люди времен «Бури и натиска» говорили

об этих вещах, исчезает. Появляется ядовитая насмешка.

Таков, например, Генрих Гейне. Он был другом Карла Маркса, увлекался социальными идеями и уже в первом своем сборнике стихов, «Книге песен», писал о любви, о сердце сентиментально и одновременно иронично. Но в какой-то момент его жизни с ним произошло превращение. Он пишет, что жрецы атеизма с удовольствием сожгли бы его теперь, но у них, к счастью, нет другого оружия кроме перьев. «Но пусть себе пишут... А я вернулся к Богу», — говорит он. Но, оставаясь верным себе, он писал об этом с иронией. Я прочту вам несколько слов из его признания. «С тех пор, как я признался в перемене своих воззрений, многие люди с христианской настойчивостью делали мне запросы: каким путем снизошло на меня наиболее убедительное просветление духа? Благочестивые души, по-видимому, жаждут услышать от меня о чуде. Они были бы рады узнать, не осиял ли меня свет, подобно Савлу на пути в Дамаск, или не ехал ли я, по примеру Валаама, верхом на упрямой ослице, которая внезапно заговорила? Нет, верящие умы! Никогда я не ездил в Дамаск и ничего толком не знаю о Дамаске. Точно так же никогда не видел я осла, который говорил бы человеческим языком, тогда как встречал достаточно людей, говоривших по-ослиному. Действительно, никакое видение, никакой экстаз серафима, ни глас с неба, ни вещий сон, никакое иное чудесное явление не привело меня на путь спасения. Я просветился просто благодаря тому, что я читал одну книгу. — Книгу? — Да. Это старинная простая книга, скромная, беспритязательная, как солнце, согревающее нас, как хлеб, которым питаемся; книга, которая смотрит на нас так сердечно, с такой благодатной добротой, как старая бабушка, ежедневно читающая эту книгу милыми трясущимися губами. И эта книга так и называется — просто Книгой, Библией. По справедливости называют ее сверх того Священным Писанием. Кто потерял своего Бога, тот может найти Его снова в этой Книге. А кто никогда Его не знал, на того повеет отсюда дыханием божественного глагола».

Так писал Генрих Гейне в конце своей жизни. К нему вернулся тот образ, который он видел в начале своего творческого пути. Наверное, некоторые из вас видели католические статуи Христа с сердцем посередине. Он где-то видел этот образ и в одной из своих поэм изобразил мир как некое царство, освещаемое солнцем. Это солнце есть сердце Христа. Этот свет горит в центре. И люди идут по блаженной стране, идут просветленные, мужественные, радостные, и каждый раз, когда они глядят на солнце, которое льет свои лучи, как кровь, они видят сердце Иисусово и говорят друг другу: «Хвала Иисусу вовеки!»

Но так писали поэты. А в это время разрушительная критика пыталась низвести Христа с Его пьедестала. Однако, по справедливому замечанию одного современного американского ученого, чем больше развенчивали Христа, тем больше к Нему приковывалось внимание литераторов, поэтов, исследователей. Самым показательным примером является Эрнест Ренан.

Французский писатель, востоковед, беллетрист, историк, Эрнест Ренан в 1845 г. в последний раз, еще в семинарской сутане, спустился по ступенькам школы Святого Сульпиция в Париже. Перешел улицу, снял с себя эту сутану и с тех пор больше не возвращался в семинарию.

Человек, родившийся в старинном бретонском городке, среди монастырей и набожных христиан-рыбаков, сам сын рыбака, он благодаря своим необычайным дарованиям был отправлен на учебу в Париж. В бретонской глуши он жил как будто среди волшебников, каждый священник был для него как колдун, и вдруг он попадает в Париж, Париж эпохи Жорж Санд и Виктора Гюго. Он сам писал в своих воспоминаниях, что какой-нибудь дикарь или индийский факир, во мгновение ока перенесенный на шумный парижский бульвар, меньше бы удивился, чем он, попавший из своего набожного бретонского захолустья в этот мир.

Но с соблазнами он справился. Все-таки мать привила ему крепкую нравственную закваску. Не справился он с другим, и это мать очень удивляло. Она потом говорила: «Почему надо изменять своей вере, если какая-то книга была написана позже, чем считалось раньше?» И в самом деле: Эрнест Ренан стал в семинарии заниматься филологией, преуспел необычайно — очень талантливый юноша. Он стал читать немецких критиков, которые ему показали, что традиционные представления об авторах Священных Книг неточны, что не Давид писал все псалмы, что Книга пророка Исайи была написана несколькими авторами, жившими в разное время, и так далее. И его это поразило! Когда он стал обращаться к своим наставникам, о которых он вспоминает в мемуарах очень тепло, они говорили: Католическая Церковь так учит, и

ни вправо, ни влево. Тогда существовал очень серьезный догматизм, преодоленный спустя сто лет, но в то время он стоил тяжелого духовного кризиса великому французскому мыслителю, писателю, эссеисту Эрнесту Ренану. В конце концов ему надо было выбирать между верой и наукой, и он предпочел выбрать науку. Он говорил: здесь, по крайней мере, истина. Кризис привел его к решению отказаться от служения Церкви и заняться восточной филологией.

Через сто лет в любом учебнике, в любом журнальчике, в руководстве для детей все те научные истины или научные теории о времени происхождения библейских книг уже, так сказать, получают гражданство и никого не будут смущать, потому что нельзя путать духовный смысл Писания с чисто научными проблемами датировки, хронологии, авторства. Как сказал мне один мой покойный коллега: если не Моисей писал все пять Книг, то тогда рушится вся богодухновенность. Чего же стоит богодухновенность, если она рушится от таких вещей? Но так рассуждал Ренан, и все у него рухнуло. И все же он не мог оторваться от Библии. Он посвятил себя ей, дал, как он сам говорил, «назорейский обет» — тридцать лет, с 1863 по 1892 г., когда он умер, Ренан писал книги на библейские темы.

Первая из них — «Жизнь Иисуса». Сначала он хотел написать историю идей — влияние немцев, гегельянцев. Но в это время Наполеон III отправил на Восток экспедицию для раскопок финикийских памятников. Уже известный семитолог, Ренан поехал туда со своей сестрой Генриеттой, женщиной эмансипированной, тоже давно отошедшей от веры. (Она влияла на Ренана довольно сильно.) Они странствовали по Ливану. У него была с собой лишь маленькая кучка книг, и он начал писать о жизни Иисуса. И вдруг он увидел, что эти холмы, эти голые скалы, эти маленькие оливковые рощи, эти тропинки у вод — это же пятое Евангелие! Вся страна сохранила в себе тот аромат, который идет от Евангелия. Подлинность, достоверность событий, описанных у четырех евангелистов и в Деяниях, предстала перед ним со всей очевидностью, и он стал лихорадочно писать, имея под рукой только греческий текст Нового Завета, Иосифа Флавия и пару пособий. Он переписывал каждый лист, Генриетта читала, одобряла, делала замечания. Это был самый счастливый момент его жизни. И Ренан говорил, что его любовь к Иисусу все возрастала. Он хотел отбросить из Его жизни все сверхъестественное. Чудеса? — самообман! Или, может быть, благочестивый обман. Воскресение? — Мария Магдалина была очень возбудимая женщина, как пишет Ренан, любовь галлюцинирующей женщины дает миру Воскресшего Бога. (Как будто мало в мире нервных женщин. Если бы каждый раз результат был таков, что было бы делать на свете!) Простые вещи, с которыми мы сталкиваемся повседневно, рожают у Ренана мировые события. Но эпоху он почувствовал, внимательно ее изучил и сумел нарисовать замечательную картину. Собственно, он писал роман, хотя это оказалось историческим исследованием.

Когда работа над книгой заканчивалась, Ренан, находясь в Ливане, тяжело заболел местной лихорадкой, потерял сознание. Заболела и Генриетта. Когда через довольно длительный промежуток времени Ренан пришел в себя, Генриетта была уже мертва. Он был в отчаянии, едва не умер, но все-таки его спасли. Он вернулся в Европу.

В 1863 г. вышло первое издание «Жизни Иисуса». Верующие люди, богословы считали эту книгу произведением антихриста, атеисты, которые еще не потеряли любви к христианской традиции, ее воспевали, называли новым Евангелием. Но, при массе недостатков, эта книга все равно осталась классической.

У Ренана множество спорных гипотез, но он сумел великолепно нарисовать обрамление, вылепить и вызолотить раму для этой картины. И картину он написал неплохо. Мы видим живыми всех этих людей: и порывистого Петра, и Анну, и Кайафу, и Иуду. И Иисуса. Но кто же этот Иисус? Это очень запоминающаяся, четкая личность. Это наивный молодой человек, простодушный, религиозный, восторженный, который ходит среди цветов и лилий по Галилее, проповедует блаженство и счастье, беззаботность; а потом он встречает мрачного аскета Иоанна Крестителя, который подталкивает Его на поиски путей более энергичного влияния на мир. Иисус отправляется в мрачную, скалистую, безводную Иудею, в Иерусалим, где сидят замшелые талмудисты и ученые.

Конечно, они его враги. Природа Иудеи и Галилеи противопоставляется очень художественно, хотя и утрированно. Это стилизация. Все слова Христовы из Евангелия, которые

содержат что-то суровое, Ренан относит к последнему периоду жизни Христа. Их говорит мрачный гигант, который предъявляет огромные требования к людям, возбудимый, эгоистичный, нервный. И потом Ренан очень тепло, с волнением описывает последние дни жизни Христа. И, заканчивая сцену Распятия, он пишет: «Покойся же отныне, божественный учитель, Твоя божественность утверждена, Ты создал истинную религию, и она никогда не поколеблется».

Хаос, который царил в голове Ренана, позволял ему писать не то, что он думал, и думать не то, что он писал. Его мировоззрение стало как бы клубком противоречий. Он без конца говорит о Боге, очевидно, не понимая Его в том смысле, как понимают христиане. Он говорит о науке, но он большой скептик и не верит в ее полную силу. Ренан говорит о великом будущем, когда Бог родится на земле (книга «Будущее науки»), но в то же время сомневается, есть ли у человечества будущее. Он верит только разуму, только рассудку! Он втискивает все явления в это прокрустово ложе, но в конце концов не верит и сам себе. Как писал о нем один философ, Ренан постоянно боялся быть обманутым и в конце концов перехитрил сам себя.

И вот с таким мировоззрением он попытался увидеть Иисуса. И произошло чудо: он все равно Его любил и видел, но он изобразил такого человека, который не мог бы создать и жалкой секты, не то что христианства. Это слабый, легко поддающийся влияниям персонаж, который даже отдаленно не напоминает евангельского Христа — того Христа, Который никогда ни с кем не советуется, никогда не колеблется, всегда действует совершенно четко и определенно. А у Ренана все построено на колебаниях. Он перенес в Него свою колеблющуюся душу и психологию. Но читателей того времени настолько поразила эта книга, ее художественные достоинства и одновременно ее историческая несостоятельность, что вокруг нее вот уже более ста лет вращается вся библейская новозаветная литература во всех странах. Кто бы ни начинал писать, он так или иначе зависит от Ренана: либо полемизирует с ним, либо подражает ему. Его великие друзья, французские писатели XIX в. — а он дружил со многими писателями — чутьем ощущали его главный промах: главное лицо-то у него не вышло! То есть оно вышло, но это совсем не то лицо. Это не настоящий Христос, это муляж.

И вот начинается литературное кружение вокруг образа Иисуса. Вскоре после Ренана пишет Флобер. Он пишет повесть «Иродиада». (Первым ее перевел Тургенев.) Христа там нет. Там есть тетрарх Ирод Антипа, Иоанн Креститель, воины, ученики Крестителя и ученики Иисусовы, но Христос где-то там за сценой, за кадром. Флобер нагромоздил в книге массу археологических подробностей, перещеголял Ренана, но к чему эти подробности, если, в сущности, непонятно, зачем эта повесть написана.

Анатоль Франс, известный всем вам писатель, который считал себя даже учеником Ренана, делает более интересный ход. Он пишет новеллу «Прокуратор Иудеи». События происходят через много лет после Распятия. Понтий Пилат, уже в отставке, беседует со своим приятелем, и тот ему напоминает казнь некоего Иисуса Назарянина. Пилат говорит: «Я не помню такого».

- Да помнишь, ты служил в Иудее, там это происходило, ты подписал, но считал, что он невиновен.
- Нет, ничего не помню. Да, я служил в Иудее.
- А ты помнишь, там была красавица Мария Магдалина, гетера, куртизанка. Помнишь?
- Помню, конечно, помню. Да, да, да...
- Ну вот, а Иисуса помнишь?
- Нет, нет. Ничего не помню...

И точка. На этом рассказ кончается. Он очень емкий. С одной стороны, может быть, Анатоль Франс хотел показать, что само событие было незначительным, что Пилат его и не запомнил. Но скорее всего, психологически более верно, что Пилат его не хотел помнить, боялся об этом вспоминать. И это очень глубоко и тонко.

В то же время, немного позже, Оскар Уайльд пишет драму «Саломея». Опять на тему об Иоанне Крестителе, о его смерти, о Саломее, о ее пляске. Оскар Уайльд — эстет, у него обязательно присутствие эротики. Саломея, дочь Иродиады, влюблена в Иоанна Крестителя, но он ее отверг, и она подстраивает ему месть, она пляшет, добивается его головы и со сладострастной удовлетворенностью тащит эту голову к себе, лобызая ее. Но это уже черты декаданса. И заметьте, опять нет Христа. Чутье художника подсказывает, что Он неизобразим.

То есть урок Ренана не прошел даром.

Правда, когда Оскар Уайльд сидел в тюрьме, он много читал Новый Завет по-гречески, размышлял над ним, полюбил его и вдохновлялся образом Христа. В посмертно изданной книге «De profundis» он писал: «Я верю, верю в то, что когда Иисус сидел за трапезой, простая вода становилась вином; я верю, что одно Его прикосновение могло оживить душу. Я верю, что люди могли слушать Его, забыв о голоде. Я во все это верю...» И тут же опять ссылается на Ренана (именно он называл его книгу «чарующим пятым Евангелием», Евангелием от Фомы, то есть Евангелием от скептика). Никуда деться от него он не мог.

Даже писатели-христиане XIX в. тоже побаивались этой темы. И не удивительно. Наверное, некоторые из вас смотрели фильм «Бен-Гур». Это остросюжетный приключенческий фильм, основанный на романе американского писателя Лу Уоллеса. Написан он в конце XIX в., в 1880 г. Главный герой его — молодой иудейский военачальник, князь Бен-Гур, который узнает об Иисусе, хочет стать Его приверженцем, хочет поднять вместе с ним народ, когда узнает о Его аресте, пытается Его освободить. Потом все его планы рушатся, Бен-Гур становится христианином, вступает в длительную борьбу. Дальше идут уже иные приключения. Христос там виден только мгновение, когда Его ведут на казнь. Фактически Его нет. Хотя дух, образ Его, слово Его господствует над всем романом и, в какой-то степени, над фильмом.

Теперь обратимся к Генрику Сенкевичу, писателю, который всем вам хорошо знаком. В конце XIX в. он пишет рассказ «Пойдем за Ним» — о римлянине, который обратился в христианство. Там есть сцена Распятия. Ясно, что Сенкевич пользовался материалами Ренана. Но опять-таки Распятие происходит где-то вдали. Оно показано как бы с точки зрения человека, стоящего на расстоянии ста метров: не слышно ни одного слова, все отодвинуто. Таким образом, Сенкевич избежал прямого изображения Христа. И наконец, в своем знаменитом романе, который принес ему мировую славу, а потом Нобелевскую премию, — в романе «Quo vadis», или «Куда идешь» (иногда его называют «Камо грядеши»), — Христос стоит в центре. Но это не беллетризация Его образа.

Сенкевич начинает с того момента, когда кончается Новый Завет. В 61—62 гг. апостол Павел приезжает в Рим. Здесь — хронологические рамки Нового Завета, и именно с этого года начинается повествование Сенкевича. Он дает яркую многоплановую панораму Римской империи: тут и вольноотпущенники, и рабы, и патриции, и царедворцы, и сам император, и чиновники, и сенат. И на этом фоне, за парадным фасадом могучей державы, мы чувствуем гниение, кризис духовный, политический и даже экономический. И вот появляется христианство — как малое русло, как малая речушка, — и ему принадлежит будущее, потому что в нем заложены семена духа, семена веры, семена нравственности. Сенкевич вовсе не идеализирует христиан. Он показывает, что и среди них есть люди разного пошиба, разного характера, есть и фанатики, и добрые, и глупые, и образованные — всякие. Но ведет их Христос. Поэтому они выдерживают самый тяжкий напор империи, они идут навстречу массовым гонениям, погибают, и во главе их погибают апостолы Петр и Павел.

Мы находим Евангелие в этой замечательной книге не непосредственно, а через призму апостолов. Апостол Петр рассказывает о Христе, дух Христов живет в этой общине, в самой Церкви.

Таким образом, литература XIX в. показала нам, насколько грандиозен этот предмет, насколько притягателен он для художника, писателя, насколько трудно им овладеть, как кружили и кружили вокруг него великие мастера слова, не решаясь переступить грань, и все-таки не могли оставить этой темы.

На рубеже XIX и XX вв. знаменитый философ, музыкант, музыковед, впоследствии врач и гуманист Альберт Швейцер написал книгу, в которой стремился доказать, что все попытки беллетризовать Евангелие и по-своему интерпретировать его субъективны. Как тогда говорили, он похоронил все эти притязания. Но что удивительно: ровно после этих «похорон» на книжный рынок стремительно обрушились лавины книг на библейские темы, в том числе на евангельские. И эта лавина не останавливается до наших дней!

## Беседа первая

Сегодня наша тема — очень сложная и, безусловно, трудно охватить все. Я на это и не претендую. Но это наш век, наш XX век, и поэтому для нас особенно важно, интересно и дорого размышление о том, как он отразился на видении Священного Писания, и как Библия отразилась в нем. Я не буду придерживаться хронологической канвы, а просто сделаю небольшой общий обзор.

Кто из писателей задумывался над начальными страницами Библии, над Книгой Бытия? Многие. Большинству из вас известна книга, многотомный толстый роман Томаса Манна «Иосиф и его братья». В этом романе очень интересно соприкоснулись Писание и литература.

В Библии эпизод о жизни Иосифа не несет на себе глубинной духовной, мистической нагрузки. Это история почти светская, в том смысле, что там разыгрываются драматические события, которые прочно врезались в память людей, которые действительно похожи на роман с приключениями, победами, узнаванием. Я думаю, что сюжет известен вам всем, так ведь? Или не совсем? В таком случае напомним очень кратко, в двух словах.

У патриарха Иакова, праотца древних израильтян, который кочевал в Ханаане, нынешней Палестине, было двенадцать сыновей, но самым любимым был Иосиф. И братья ему завидовали, что он любимчик, что отец ему сделал красивую одежду. Однажды Иосиф, который был не лишен, по-видимому, хвастовства и гордыни, сказал, что ему приснился сон, будто одиннадцать снопов поклонились двенадцатому — это ему. И братья постепенно не только невзлюбили, но просто возненавидели его. И однажды, когда он пришел к ним в уединенное место, в долину, где братья пасли стада, они решили с ним расправиться — ну, грубые, первобытные пастухи. (Все это происходит примерно в 1700 г. до Р. Х., то есть 3700 лет тому назад.) Сначала братья вообще хотели его убить, бросить в пустой колодец в пустыне, где бы он погиб; но потом, увидев караван кочевников-торговцев, они решили продать его в рабство. И продали его этим людям, а одежду Иосифа испачкали в крови козленка, принесли ее отцу и сказали: «Вот это все, что мы нашли в пустыне». Иаков страшно убивался: мой сын, любимый мой сын погиб. Библия подчеркивает различное отношение братьев к этому преступлению: один брат хотел бросить его в колодец, но потом тайно спасти, другого мучила совесть, в общем, их реакция была неоднозначной.

А потом Иосиф был продан в Египет, стал слугой у египетского вельможи, но, когда жена этого вельможи пыталась его соблазнить, он, сохраняя какие-то этические нормы, которые он вынес из общения с отцом, сказал, что он не может: твой муж мне как отец, для меня это будет большим преступлением. Она решила ему отомстить и устроила такую инсценировку, как будто он пытался ее изнасиловать. Разгневанный господин, когда узнал об этой истории, бросил его в тюрьму. Но не убил, хотя раба можно было убить.

В тюрьме Иосиф познакомился с двумя царскими вельможами, которые по капризу фараона попали за решетку. Однажды они рассказали ему свои сны, а Иосиф обладал даром угадывать по снам будущее. И он предсказал одному, что вскоре его постигнет тяжкая участь — он будет казнен, а другому сказал, что вскоре царь вернет ему свою милость. «И когда ты вернешься к себе во дворец, вспомни обо мне, что я невинный здесь томлюсь». И рассказал ему свою историю. (На эту тему есть картина в Русском музее.) Предсказания Иосифа сбылись: одного казнили, другой вернулся во дворец и, конечно, его забыл. (Все это очень характерно и типично для человеческой жизни, хотя и написано в глубокой древности.) Забыл его в своем счастье, в своей радости, что снова вернулся и стал царским виночерпием, то есть подавал вино при царских пирах, — это считалось большой должностью.

Но однажды фараону приснились странные сны: он видел во сне коров (а в Египте коровы считались священными), они выходили из Нила; и сначала вышли тучные, толстые коровы, а потом за ними тощие, и тощие, набросившись на тучных, съели их, но остались такими же тощими. Фараон, который считал, как это было принято в Египте, что сны открывают божественные истины, пытался выяснить, что это значит. И тогда виночерпий вспомнил: «Да, со мной сидел в тюрьме человек, иноплеменник, еврей по происхождению (тогда это слово употребляли только говоря о чужеземцах и означало оно "странник", "скиталец"), он здорово

угадывает сны, он мне предсказал, что ты мне возвратишь свою милость».

Послали за Иосифом. Иосиф сказал, что эти сны означают: сначала будут времена плодородия, а потом наступит несколько лет голода, постарайся заранее запастись зерном. Фараон сказал Иосифу: «Ну что ж, тогда мне нужен человек, который будет всем этим распоряжаться, а поскольку ты такой умный, то займись этим». И сделал Иосифа распорядителем по зерноснабжению. Иосиф устроил большие государственные амбары, туда свозили все излишки зерна, и, когда действительно наступил голод, он смог распорядиться им и спасти страну от бедствия.

Тем временем голод охватил не только дельту Нила, но и проник в Ханаан, место, которое теперь у нас называется Израиль, Палестина. И старик Иаков, оказавшись на грани голодной смерти, решил отправиться в Египет, где, как он слышал, продают для иноземцев хлеб, пшеницу, зерно. Сам он был стар и не смог этого сделать, он отправил нескольких своих сыновей. Они приехали в Египет и оказались у дома Иосифа, и тот узнал их, а они, разумеется, не узнали в важном египетском вельможе своего брата, который, как они считали, погиб.

И вот Иосиф начинает с ними сложную игру. Он продает им хлеб, потом возвращает их и говорит: «А сколько вас братьев?» Они отвечают: «Нас двенадцать, но одного не стало». «А как зовут вашего отца?» Он все время спрашивает их, и они чувствуют, что внимание его какое-то подозрительное, они боятся его. Иосиф сажает их за стол, и сажает по старшинству, по возрасту. И они говорят: «Господин все знает про нас». Потом он их отпускает. Несколько раз они приходили и уходили, а в нем шла внутренняя борьба: это и горечь обиды, и в то же время жалость. И в конце концов он не выдерживает, просит всех посторонних выйти, и когда братья остаются одни, он вдруг говорит: «Это я, Иосиф, ваш брат. Жив ли еще мой отец?» Они в ужасе упали перед ним на колени, а он заплакал. И так совершилось это примирение — он их простил. Он сказал важные библейские слова: «Вы сотворили зло, но Бог и зло обратил в добро». Так часто бывает в истории. Потом Иосиф смог взять отца и всю семью в Египет, и они спаслись от голодной смерти.

Такая история не могла не привлекать поэтов, художников, писателей. В XX в., в очень трудный и кризисный период, во время войны, Томас Манн пишет большой роман «Иосиф и его братья». В целом он придерживается библейского сюжета. Но священный библейский писатель, который составлял Книгу Бытия, привел этот драматический, можно сказать, приключенческий рассказ, чтобы показать, какими удивительными, сложными, иногда парадоксальными путями, где сталкиваются случайности, неожиданности, ведет Бог своих избранных, как Он все равно сохраняет то, что Он задумал; как человек, попавший в совершенно чуждую ему ситуацию, сохраняет в сердце свои устои, свои духовные и нравственные заветы.

Томас Манн пишет медленно, подробно, как вообще свойственно ему. Это медитации, размышления обо всем: и о Иакове, отце Иосифа, и о его предках. В романе намешано очень много материала из исторических исследований, но вы разочаруетесь, если будете искать там действительную историю. Когда Томас Манн закончил роман, его машинистка говорила: «Теперь я знаю, как на самом деле все было». Но едва ли все было так. Томас Манн захотел сделать эту историю поводом для размышления над духом человеческим, над его стремлением к вечности, над тайной Бога; там без конца все вращается вокруг поисков Бога, человечество ищет Бога — то, чего в библейском рассказе об Иосифе нет. И в этом-то как раз особенность и парадокс: Томас Манн, отталкиваясь от этого библейского сюжета, углубляется в сферу религиозных исканий.

Для многих эта книга явилась откровением, многие люди говорили мне, что они смогли понимать Библию, только прочтя книгу «Иосиф и его братья». Однако там слишком много построено на человеке. Получается так, будто человек придумал эти божественные тайны, как бы родил их из себя; Иосиф представлен чуть ли не как религиозный мыслитель, и его нравственные, религиозные поиски создавали некий образ Бога и взаимоотношений человека с Богом. Это не так. Поверьте мне: эти простые пастухи ничего не могли придумать. Если уж живущие рядом с ними, образованнейшие для того времени жрецы Вавилона и Египта не могли додуматься до истины единобожия, то где уж было этим людям, неграмотным, не имевшим письменности, кочевавшим со своими стадами, — где им было додуматься до чего-то. Поэтому



конструкция Томаса Манна отрывается от реальной библейской истории, и остается лишь размышлением на эту тему.

Далее. Если посмотреть, что в XX в. привлекало людей в Библии, то это, конечно, узловые моменты. Во время первой мировой войны Стефан Цвейг пишет драму «Иеремия», о пророке Иеремии, который пытается остановить военные приготовления, но его считают предателем. На него обрушивается гнев народа и гнев властей. Он стоит перед обществом как изгой. Из всего общества только один он любит свой город и свою страну и желает им добра! Но его считают предателем. Вот эта драма привлекла Стефана Цвейга в период, когда шла борьба за прекращение войн, — девятнадцатый год, когда Европа стояла на распутье.

Разумеется, не обошлось без попыток изобразить Евангелие как знак революционный. В 1925 г. Анри Барбюс пишет книгу «Иисус»; она у нас выходила, кажется, не совсем полностью и называлась «Иисус против Христа». Он хотел доказать в этом романе — полуромане, полуисследовании, — что Иисус был революционером и даже атеистом, но что учение Его исказили. И это очень трогательно, потому что Анри Барбюс, как и многие другие, все равно хотел найти оправдание, поддержку у Христа. Извращенного, искаженного абсолютно, но все-таки у Христа. Разумеется, ни малейшего основания для того, чтобы считать так, в Евангелии нет: Христос никогда не поддерживал насилия, насилия для того, чтобы изменить общественный строй. А Барбюсу хотелось, чтобы было именно так. И у него нашлись последователи не только в художественной литературе, но также среди историков, которые так реконструировали события.

В прошлый раз я вам рассказывал, как писатели XIX в. как бы разбивались о стену, пытались изобразить Христа. Некоторые на этом и остановились. Скажем, Морис Метерлинк пишет взволнованную драму «Мария Магдалина». Героиня ее — Мария Магдалина, которой римский воин предлагает вернуться вновь к распутной жизни и обещает за это освободить осужденного Христа. Но она предпочитает остаться верной Его заветам. Парадоксальная драма. И Христа там нет.

Также нет Его и у Оскара Уайльда, уже на рубеже века. А немецкий писатель Герхарт Гауптман попытался пойти по тому же пути, по которому шли некоторые немецкие художники конца XIX и начала XX вв.: представить себе Иисуса Христа в нашем современном обществе. Эти художники писали картины на евангельские темы, Христа там окружали люди в одежде XIX — начала XX вв. И Гауптман пишет роман, который он назвал «Юродивый во Христе Эмануэль Квинт».

Это очень странный роман о жизни проповедника из народа, который внезапно вышел говорить о Царстве Божием в захолустном немецком городке. И дальше разворачивается парафраз евангельской истории. Этот проповедник встречает своего Крестителя — это суровый протестантский пастор, который кричит всем: «Покайтесь!», и он тоже совершает некое крещение в речушке около села. Герой романа Эмануэль (имя его означает «с нами Бог») приходит к нему, у него появляются последователи, апостолы, есть там и свой Иуда. Правда, кончил он не Голгофой. В романе есть изгнание торгующих из храма, когда Эмануэль Квинт пришел и разогнал их в храме, разбил алтарь; он подвергся общественному ostracismu после ареста и скитался по городам. В конце концов он решил, что Христос живет в нем, что Он воплотился в нем. Он стучится в дом, спрашивают: «Кто там?» — он отвечает: «Христос», — и дверь захлопывается. И Гауптман пишет: «По всем городам шум этих дверей, он мог бы разбудить небо: Христос стучится в дверь, и все захлопывают двери. И какое счастье, — пишет он, — что это был не настоящий Христос, а просто бедный юродивый, а то бы столько военных, чиновников, епископов, бургомистров подверглись суровому осуждению». А потом прибавляет: «А что если это действительно был Христос, Который под видом несчастного юродивого пришел проверить, насколько созрело посеянное Им семя?»

Эмануэль Квинт погибает в горах, тайна остается скрытой; когда его нашли, в руках у него была зажата бумажка со словами: «Тайна Царства» — и вопросительный знак. Роман получился двусмысленным: это и о жизни Христа на фоне современного общества, и в то же время всегда можно сказать, что это не Он. Действительно, Гауптман изобразил только юродивого; ничего подобного Евангелию с его внутренним могуществом в романе нет.

Если мы перейдем к русским писателям, то вы все, наверное, читали повесть Куприна

«Суламифь» (вышла в 1908 г.). Она извлечена из «Песни Песней» — таинственной книги о страстной любви, о чувственной любви, которая почему-то вошла в Священное Писание. Внешним поводом, по-видимому, было то, что эти гимны пелись во время свадеб, во время брачного, венчального, как сказали бы мы, ритуала.

Есть попытка рассмотреть эти песнопения как некий драматический диалог: голос невесты, голос жениха, голос хора. В XIX в. некоторые библеисты истолковывали это таким образом, что девушка из народа любит жениха — пастуха. Ее забирают в гарем к царю (хотя это и называется «Песнь Песней Соломона», там о царе Соломоне говорится в третьем лице и не всегда положительно), но она убегает. Там есть такой момент, когда эта девушка бежит по ночным улицам и ищет своего любимого; солдат, патрульный, ее останавливает: «Куда ты идешь?» — «Я ищу своего любимого». Некоторые толкователи думали, не есть ли это гимн или драма, направленная против царя, против судьбы тех женщин, которые находились — их было около тысячи — в гареме Соломона. (По восточным обычаям считалось, что чем больше жен, тем более авторитетен царь.) Свободная любовь к другу, к любимому пастуху, побеждает этот гарем, эту жизнь, как бы сладкую, но в которой на самом деле нет ничего отрадного для души. Любовь выше царской роскоши.

Куприн все это перевернул. Он взял традиционную модель: изобразил это как любовь царя к юной девушке Шуламит (шуламитянка; то есть этническое, племенное название превращено у него в имя Суламифь).

Конечно, самое важное, что всегда привлекало в этой вещи и Пушкина, и многих других, кто перелагал «Песнь Песней», — это глубочайшее понимание силы любви. «Сильна как смерть любовь», сказано в «Песни Песней». И это очень важно. Мне кажется, что важно не то, каким образом мы истолкуем эту книгу — против царя или за царя, — а важно, что Библия, которая говорит о смерти, о вечности, о дружбе, о войне и мире, о голоде и победах — обо всем, — она, конечно, должна говорить и о любви. И то, что Церковь эту книгу включила в Священный канон, говорит о священности самой тайны любви. Недаром у нас из семи церковных таинств одно является таинством брака, таинством любви.

В те же годы писал Леонид Андреев. У него есть библейская повесть «Иуда Искариот и другие». Многие из вас ее, наверное, читали, недавно она была переиздана. Это, конечно, слабое произведение. Если вы взгляните в образ Иисуса, он ничтожен, бледен, а образ Иуды глубоко надуман. В конце концов, читатель даже не понимает, в чем дело, почему у Иуды такое раздвоенное отношение ко Христу? В евангельской реальности все было проще, и в то же время сложнее. Проще — потому, что когда апостолы, в том числе и Иуда, пошли за Христом, в их движении было много своекорыстного, даже не в грубом смысле, а просто по-человечески. Они думали: Он пока еще в тайне, потом Он явится открыто, и тогда они окажутся на гребне волны. Когда этого не случилось, апостолы испугались и разбежались, но один Иуда полностью утратил к Нему любовь и веру. А Леонид Андреев там намешал каких-то — это была эпоха декаданса — странных, противоречивых чувств. Настоящих внутренних обоснований поступка Иуды у него нет.

Разумеется, невозможно обойти попытки изобразить Христа у разных писателей Востока и Запада. Но как все это охватить? Мы видим немецкого писателя Френсона, который на основе научных данных пытается написать роман о Христе. Получается роман ни о чем, потому что тот Иисус, который там фигурирует, проповедует некое великое могущество, которое приведет человечество к раю на земле.

Писатель Франсуа Мориак (я думаю, многие у нас с ним знакомы, он переводился многократно) в 1936 г. написал книгу «Жизнь Иисуса». Это очень тонкая, очень бережная книга, ведь Мориак — классик. Он ничего не добавляет от себя. Христос в этой книге не говорит ни одного слова, которого бы не было в Евангелии. Там нет подробностей окружающей Его обстановки, лишь скупые штрихи, доступные только блестящему мастеру прозы, и в какой-то момент мы видим воочию все это. Я могу привести одно место, которое меня всегда потрясало. Дом в Назарете, Мать и Сын. Он трудится. Она всегда хранит в сердце то, что Ей было открыто, но как же Ей это трудно! Ведь Ему было обещано нечто великое, а вот уже тридцать лет, и вместо царского престола у Него только верстак в комнате. Но Она хранит это в сердце.

Писатель говорит, что вокруг идет обычная жизнь, но бывают мгновения, когда Мать и Сын остаются вдвоем. И Мориак ничего не додумывает, ничего не домысливает, он не изобретает диалогов между Марией и Ее Сыном, он только дает намек, как замечательный писатель: они остаются вдвоем, вечером, за столом; и писатель предоставляет нам вдруг ощутить атмосферу Этих Двоих... Так построена вся книга, и когда ее дочитываешь до конца — она небольшая, — остается ощущение встречи с Ним.

Иначе поступает польский писатель, романист Ян Добрачинский. Он сам пережил личное горе — у него умер сын. Он пишет от лица Никодима. Никодим, член верховного совета старейшин в Израиле, был тайным учеником Иисуса. О нем мы знаем очень мало из Евангелия от Иоанна. Романист приводит письма, которые Никодим после всех евангельских событий отправляет в Рим своему другу. В них описываются все перипетии евангельской истории, в которых он участвовал. Там есть все: и пейзаж, и исторические подробности, и попытка все это увидеть. Насколько она привлекательна, показывает то, что этот роман был переведен на все европейские языки и до сих пор переиздается, до сих пор пользуется популярностью, хотя его автор не первоклассный мастер. У Никодима больна Рут (Рут — это женское имя, по-русски Руфь). Кто она ему: дочь, жена, сестра, читатель так до конца и не узнает, и это неважно. Он все время думает о том, как привести ее к Иисусу, чтобы Он исцелил ее, но она умирает. И вот это его страдание превращает книгу во что-то очень личное, волнующее. Я делал такие опыты: некоторым людям, которые плохо воспринимали Евангелие, я давал переведенные кусочки из этой книги, и на них это производило впечатление. Называется книга «Письма Никодима» (по-русски она пока не издана).

В те же 50-е гг. Добрачинский написал роман «Варавва» — у нас он переведен. Если Никодим идет к вере и в конце концов находит во Христе свою духовную пристань, то Варавва (тот, кто, как вы помните, был отпущен, когда Иисуса Христа осудили на распятие) — грубоватый, тупой человек, который верит только насилию, — слоняется, шастает по городу и не может понять, *что* он и *зачем* он. Варавва становится каким-то страшным двойником Христа, потому что попадает в среду христиан и они говорят: «Это тот, вместо которого распяли Учителя», — и вокруг него сразу образуется стена.

Потом девушка, к которой он был привязан, возвещает людям о том, что Христос воскрес. Для Вараввы это все сказки, басни, эту девушку побивают камнями. В конце концов, после долгих скитаний Варавва попадает в Рим. Там он встречается с христианами. И вдруг город начинает гореть, и только тогда Варавва говорит: «Он пришел, мой Христос, Он поджег Рим, и я Ему помогу!» Он берет пылающую головню, идет и поджигает дома. Потом его хватают солдаты, и он умирает на кресте. Умирают на кресте и другие христиане, но они умирают с надеждой, с верой, а Варавва умирает просто так, бессмысленно, отдавая свою душу тьме. Повесть, может быть, не очень глубокая, но в ней изображено трагическое столкновение человека, который живет примитивной системой ценностей, с людьми, идущими высоким духовным путем. И что-то в нем на мгновение вдруг вспыхивает, но тут же гаснет.

Недавно в Москве вышла аналогичная книга польского писателя Генриха Панаса «Евангелие от Иуды». Иуда там — образованный человек из Александрии (очевидно, покойный Панас в чем-то изображал себя), скептик, ему все уже надоело, он все познал, все читал, все изучил, ни во что не верит, богат, у него есть все, но вот он полюбил женщину, Марию Магдалину (бедной Марии Магдалине всегда достается, ее во всех романах эксплуатируют самым нещадным образом). Но она, оказывается, является любовницей какого-то римского офицера. Как вырвать ее из лап завоевателя? Иуда подстраивает как бы покушение на нее, чтобы ее спасти, но он опоздал; ее освободили другие люди, это оказались ученики Иисуса. Она примыкает к ним, и бедный Иуда — она уплыла у него из рук — должен идти к ученикам Иисуса. Он встречается с Иисусом и ходит с Ним. Он все время думает о Марии Магдалине. И так, призрачно и очень вяло, проходит евангельская история по страницам этого романа.

Иисус оценил его ум и тонкость. Оказывается, ученики Его задумали мятеж, восстание, Иисус хочет погибнуть с ними, потому что дело безнадежное, но уйти было бы нехорошо. Но Иуду Он ценит — умный человек — и поэтому во время Тайной вечери Он говорит ему: «Ты уходи, делай свое дело». Иуда уходит, думая, что в конце концов, после гибели Иисуса и Его

учеников, он Марию Магдалину все-таки получит. Но и в этом он разочаровывается, потому что она приходит к нему и говорит: «Я Его видела после распятия, я видела Его живым». И она уходит, а Иуда остается ни с чем. Это тоже столкновение человека с духовной реальностью, но другого типа: тот, Варавва, — грубый, примитивный человек, который делает ставку на насилие, а этот — как бы умный, как бы всезнающий, который решил, что он довольно почерпнул истины, больше ему ничего не надо.

Все эти романы показывают бессилие человека перед задачей изобразить Христа. Посмотрим, наконец, на Булгакова. Однажды Солженицын задал мне вопрос: почему Булгаков, который в своей пьесе «Последние дни» (я думаю, что многие из вас читали или смотрели эту пьесу) понимал, что Пушкина не надо изображать, что его невидимое присутствие лучше, чем если бы по сцене бегал какой-то загримированный под Пушкина шумливый актер, — и это действительно так, в пьесе есть достоверность реального присутствия подлинного Пушкина, — почему Булгаков не понял этого и попытался вывести Христа, вместо того чтобы поступить, как поступил Константин Романов? (Константин Романов был мало известный, но даровитый поэт, писавший под псевдонимом К. Р. — ему не хотелось выставлять перед всеми, что он прямой родственник царя.) Он написал драму «Царь иудейский» — о событиях последних дней в жизни Христа, о Страстной неделе, и о Его Воскресении. Ни Христа, ни апостолов в драме нет, все происходит рядом.

Почему Булгаков так не сделал? Конечно, ответ на это трудно найти, но, мне кажется, он, по-своему, все-таки сделал нечто подобное: он ведь не изобразил Христа. Известные слова о том, что «Мастер и Маргарита» — это Евангелие от Воланда, ничего не означают. Булгакова волновала проблема предательства, проблема того, как люди, его современники, и в нашей стране, да и в любой другой (это же общечеловеческое), предавали других и себя. И Мастер ведь чувствовал, что он себя предает. Тема измены, предательства, умывания рук — вот какая здесь главная тема.

Наш XX век — это век «умывания рук». Люди «умывали руки» на протяжении всего XX столетия. И когда была Бурская война, и когда была Первая мировая война, и когда были страшные события в Берлине и в Москве в тридцатые годы, и когда была Вторая мировая война. Это «умывание рук» было трагичным и остается таким до нашего времени. Это волновало Булгакова, и он хотел изобразить Пилата как воплощение вот этого «умывания рук». А для этого нужно было, чтобы перед Пилатом стоял Христос. Булгаков изобразил совершенно другую личность, абсолютно другую, не похожую ничем, кроме имени, на Христа.

Те из вас, кто хоть раз читал Евангелие, прекрасно знают, что булгаковский бродячий философ, говоривший, что настанет царство истины, что все люди хорошие, называвший каждого «добрым человеком», — совершенно не похож на евангельского Христа! Мы знаем, что Он мог сурово сказать: «Порождение ехидны», или назвать Ирода лисицей, а вовсе не называть всех подряд «добрыми людьми». Поэтому Булгаков намеренно переделал и сюжет, поэтому он ввел Левия Матфея, который якобы все искажил. Таким образом, перед нами просто другая история. Это художественный вымысел, это другой человек. И только в конце каким-то странным образом Он имеет прямое отношение к власти над миром и Он определяет судьбы мира

Здесь что-то не вяжется, концы с концами не сходятся, но ведь этого и не должно быть. Это же внутреннее видение самого поэта, самого художника. Писатель не обязан отвечать на вопросы — он должен их ставить. Вы можете удивиться, но основная модель этого романа, как мне представляется, — вовсе не Евангелие, а Книга Бытия.

В Книге Бытия рассказывается о том, как Бог в виде трех странников посетил Содом и Гоморру, чтобы посмотреть, действительно ли эти города настолько уже разложились, что пора их отправлять в тартарары. Этот сюжет неоднократно повторялся и в христианских легендах, и вообще в мировой литературе. Последний раз он использован в романе Герберта Уэллса «Чудесное посещение», где рассказывалось о том, как ангел пришел на Землю во плоти и посмотрел, как живут англичане в 1895 году.

Здесь произошло то же самое: приходит эта шутовская компания во главе с Воландом, и ее приход вскрывает ситуацию в Москве в лице всех этих лиходеевых, варенух и других персонажей — весь этот маскарад берлиозов. Она вскрывается только через столкновение с

гостями. А то, что это никакой не дьявол (я в это не верю), а посещение в каком-то более глубоком смысле, — это чувствуется в незабываемом, великолепном, я бы сказал, проникнутом духом мистицизма описании их обратного полета, когда они летят луне навстречу, и шутовские карнавальные маски с них слезают, и уже нет ни кота, ни Коровьева, а какие-то совершенно иные существа. Они посетили Землю, чтобы посмотреть, как живут люди.

И в самом деле, тема чудесного посещения характерна для Библии, для многих ее книг и глав. Она характерна и для нашей жизни, потому что каждый из нас переживает это чудесное посещение в какие-то особые мгновения нашей жизни.

Если же говорить о поэзии, то здесь невозможно охватить даже самую малость, потому что не было поэта в России (я беру только Россию), который не обращался бы так или иначе к библейским и особенно евангельским сюжетам.

Я думаю, что теперь вы все уже прочли «Доктора Живаго». Вы помните страницы, строки, посвященные явлению Христа, когда Он вошел в этот древний мир народов Римской империи, где была давка богов в три этажа. И вот пришел Христос и возвестил человека. Человека... И началась новая история.

Что касается евангельских стихов, которые приложены к «Доктору Живаго», то вы должны были заметить, что многие из них навеяны картинами старинных мастеров, где опять-таки события Священной истории разворачиваются не в одеждах и обстановке древности, а в одеждах и обстановке нового времени.

Рождество в стихотворении «Рождественская звезда» описано, как на иконе или картине: тут и холод, тут и снег, и все новое. И в стихотворении «Магдалина» Мария Магдалина поливает миром из ведерка — не из старинного кувшина, как это было в Евангелии, а у нее в руках ведерко, как у женщины сегодня; и она видит Того, Кто простер многим руки с креста как объятия.

У людей пред праздником уборка.  
В стороне от этой толчеи  
Обмываю миром из ведерка  
Я стопы пречистые Твои.

Шарю и не нахожу сандалий.  
Ничего не вижу из-за слез.  
На глаза мне пеленой упали  
Пряди распустившихся волос.

Ноги я Твои в подол уперла,  
Их слезами облила, Иус,  
Ниткой бус их обмотала с горла,  
В волосы зарыла, как в бурнус.

Будущее вижу так подробно,  
Словно Ты его остановил.  
Я сейчас предсказывать способна  
Вещим ясновиденьем сивилл.

Завтра упадет завеса в храме,  
Мы в кружок собьемся в стороне,  
И земля качнется под ногами,  
Может быть, из жалости ко мне.

Перестроятся ряды конвоя,  
И начнется всадников разъезд.  
Словно в бурю смерч, над головою  
Будет к небу рваться этот крест.

Брошусь на землю у ног распятыя,  
Обомру и закушу уста.  
Слишком многим руки для объятья

Ты раскинешь по концам креста.

Для кого на свете столько шири,  
Столько муки и такая мощь?  
Есть ли столько душ и жизней в мире?  
Столько поселений, рек и рощ?

Но пройдут такие трое суток  
И столкнут в такую пустоту,  
Что за этот страшный промежуток  
Я до воскресенья дорасту.

Проблема внутреннего видения Священного Писания у Пастернака — тема сложная. Он не считал себя ортодоксальным христианином, у него были какие-то свои восприятия, но Воскресение он переживал. Воскресение — значит присутствие Христа. Не просто жизнь кого-то и когда-то. И поэтому в одном из стихотворений («Гефсиманский сад») так серьезно об этом сказано, и звучат вещие слова от лица Христа (мало кто из поэтов умел говорить от Его лица):

Я в гроб сойду и в третий день восстану,  
И, как сплавляют по реке плоты,  
Ко Мне на суд, как баржи каравана,  
Столетия поплывут из темноты.

Они плывут до сих пор. Мир непрестанно судится. Многие из вас нередко спрашивают о Страшном суде, о конце мира — все это продолжается и сейчас. Христос сказал: «Ныне суд миру сему», — сказал две тысячи лет назад.

Друзья мои, я мог бы говорить вам и о пророческих прозрениях Волошина. В грозные двадцатые годы он лучше других понял, что происходит, и писал от лица пророка Иеремии, писал о Лазаре, восстающем из гроба, о надежде, что страна встанет из гроба и вместе с ней он встанет. Многие наши современники писали на эти сюжеты, каждый пытался найти что-то свое. И так будет всегда, потому что для художника и поэта творчество есть его жизнь, а жизнь судится только перед лицом вечности. Если вечности нет, то мы — как саранча, которая проносится и исчезает в воздухе, не оставив после себя ничего, кроме голой земли.

Сейчас наше время полно тревожных событий и сообщений. Мы видим, как злые стихии, скрытые в человеке, вырываются наружу. Никакая сильная рука не может этого остановить — только Дух может упорно и терпеливо работать над тем, чтобы человек преобразился. Если мы не будем стремиться к этой цели, то внешние преобразования мало что дадут. И поэтому неудивительно, что лучшие мыслители, если взять хотя бы Россию XX в., и многие писатели нашего времени неизбежно обращались к Священному Писанию тогда, когда хотели выразить самые далекие от него истины.

Мне вспоминаются сейчас «Двенадцать» Блока и «Ответ Демьяну Бедному» Есенина. Есенин выступал против берлиозов своего времени, в защиту Христа как борца за справедливость. Он увидел в Нем что-то близкое себе. А Блок увидел Его впереди двенадцати...

Их не случайно двенадцать. Это двенадцать апостолов. Двенадцать апостолов новой веры. Впереди Иисус Христос. Но так ли это? Я думаю, это было что-то зловещее и таинственное. Блок хотел, чтобы там шел Другой (с большой буквы). Он сам об этом говорил. Но почему-то поставил Христа. Загадка эта вызывала много споров. До сих пор вопрос не решен, и, я думаю, никогда не будет решен.

Почему Блок захотел поставить Другого, а невольно поставил Христа впереди? Самый простой ответ — он верил, что эти двенадцать выполняют великую благоую вселенскую миссию. И потому, несмотря на то, что они не верят в Христа, они идут без креста, — Он впереди них. И я думаю, что это не был библейский Христос, реальный Христос. Пусть любой из вас обратится к Евангелию и подумает, можно ли представить себе Иисуса Назарянина в «белом венчике из роз»? Нет. Это тень, это призрак, это пародия. Это то раздвоение сознания, которое ввело в заблуждение наших отцов.

Блок писал, что он ходил по темным петроградским улицам и видел, как кружились метельные вихри и ему виделась там эта фигура. Это был не Христос, но ему казалось, что это хорошо, что это прекрасно. Вы помните сцену, которая описана у Маяковского. Но это было не хорошо. Это была трагедия. Блок это понял, к сожалению, поздно. Значит, не было там Христа.

(Голос из зала: «Блока поправили — «Впереди идет матрос!» В зале смех.)

Если бы там был только матрос, все было бы просто, но в том-то и вся беда, что он написал: «Впереди Иисус Христос!»

Где же ответ? Блок как пророк — многие поэты являются в такое время инстинктивными, стихийными пророками — почувствовал веру людей в то, что мир можно перекроить кровавым образом и что это благо. Поэтому там должен был быть Христос — но *псевдохристос*. Я думаю, что «белый венчик» и весь его образ — это бессознательная «живопись», изображающая псевдохриста: потом он обернулся, и оказалось, что это был антихрист.

И мы знаем, что в истории произошло именно так. Было сказано много красивых, прекрасных слов, но жизнь пошла иначе. Многие люди, особенно из старшего поколения, верили... Мы не должны их огульно осуждать и злорадно говорить им: где вы были, почему вы молчали, когда творилось беззаконие? Нет, ведь мы же все хорошо помним искренность убеждения многих людей, не просто конформистский страх, а искренность убеждения в том, что все идет хорошо, что впереди идет Христос, несмотря ни на что. Но Его впереди не было.

В этом и состоит задача человечества — найти ту дорогу, где Он будет идти впереди. Только тогда дорога будет вести к храму. Я вовсе не имею в виду механическое обращение в христианство всех людей. Нет. Но можно быть верным духу Христову, даже оставаясь мусульманином, агностиком, даже буддистом. Сам Господь будет судить о людях, кто Ему принадлежит, а кто — нет.

Напомню вам в заключение слова Христа: «Многие скажут Мне: не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» Но Он сказал: «Не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи!, войдет в Царство Небесное... Я никогда не знал вас, отойдите от Меня...» Значит, все здесь и сложно, и одновременно просто, ибо Он говорит нам: «То, что вы делаете для Моих братьев меньших, вы делаете Мне». Здесь мы подходим к той тайне, что Христос реально анонимно присутствует там, где Его имя может и не произноситься. И напротив — там, где Он, казалось бы, назван и идет впереди, может оказаться, что это не Он, а Его антипод. Так не раз бывало в истории.

## **Библия и литература XX века** **Беседа вторая**

В прошлый раз мы с вами остановились на странном феномене «Двенадцати» — «...впереди Иисус Христос». Некоторые в записках меня спрашивают, что же хотел сказать Александр Александрович этим образом? Те из вас, кто знаком с биографией и творчеством Блока по воспоминаниям, дневникам и письмам, знают, что этот вопрос ему задавали уже его современники, знают, что некоторые люди после этого перестали ему руку подавать. Эта поэма (в сущности, прекрасная, конечно, поэма, одно из сильнейших его произведений) вызвала бурю гнева и возмущения. Знаменитая книга Николая Александровича Бердяева «Философия неравенства», хотя и не касалась непосредственно поэзии, внутренне была нацелена против Блока и тех, кто был с ним.

Блок признавался, что сам не понимает, каким образом там впереди оказался Иисус Христос: нужно, чтобы был Другой (в текстах обычно «Другой» пишут с большой буквы); «Другой» это что-то вроде антихриста. Так или иначе, безусловно, библейская схема налицо: Христос и за Ним идут двенадцать апостолов новой веры.

Мне кажется, что здесь может быть много различных интерпретаций и нужно обратиться к наиболее простой. Блок — человек, глубоко тяготившийся жизнью, которая его окружала (если вы вспомните поэму «Возмездие»), чувствующий, насколько предгрозовой была атмосфера в стране на рубеже столетий. Он разделял чувства многих людей, которые вылились в один вопль, горьковский вопль: «Пусть сильнее грянет буря!» Долбя в школе это стихотворение, мы часто забывали о том, что люди начала века чувствовали, читали и переживали это с большим

пафосом. Они действительно жили в значительной степени в каком-то затхлом мире — назревала новая эпоха, должно было треснуть яйцо и родиться нечто новое.

Они чувствовали и переживали это по-разному. Вспомните «Скучную историю» Чехова. Иногда, когда наша жизнь становится слишком тревожной, угнетающей и когда хочется, чтобы она была другой, когда возникает ностальгия по более спокойной жизни, рекомендую людям в качестве противоядия Чехова. Стоит как следует вчитаться в мир этих людей, которым некуда было идти, не для чего жить, которые только говорили: «В Москву, в Москву...» — куда-то, а сами, в конце концов, никуда не шли, жили ни для чего, ничего не делали, которые находились в состоянии стагнации. Надо внутренне перенестись в их состояние, чтобы ощутить человеческую правоту этого крика: «Пусть сильнее грянет буря!» Конечно, никто толком не понимал, какую форму эта буря примет. Конечно, все это были мечты, фантазии.

Но была старинная русская, и не только русская, традиция в литературе и искусстве: вечные, крупные, волнующие темы передавать языком Библии, независимо от того, каким было отношение к Библии у данного писателя или художника. Даже «Старуха Изергиль», несомненно, несет на себе какие-то смутные черты библейских мотивов. Данко, вырвавший свое сердце и освещающий путь людям, — это псевдохристос. Многие художники-передвижники, изображавшие Христа, вкладывали в этот образ свои, часто посторонние, небиблейские мысли. Крамской прямо писал, что хотел изобразить человека, который находится на перекрестке своей жизненной дороги, на развилке путей. Однако если бы он изобразил просто мужичка, который присел отдохнуть на развилке, люди посмотрели бы и прошли мимо, но он изобразил Христа в пустыне в решительный момент Его земного пути, и это, конечно, сразу же как магнитом привлекло внимание тысяч зрителей, и до сих пор привлекает.

Чтобы показать правоту той истины или той ситуации, которую художник хочет передать людям, надо было связать ее с Библией и с образом Христа. Безусловно, Блок хотел сказать: да, идут бандиты, на них бубновый туз (вы знаете, что его пришивали каторжным), но они идут за правое дело, они апостолы какого-то нового мира, который придет после катастроф революционной бури; она сметет старый мир: и интеллигента-витулю, и Учредительное собрание, и «товарища попа», который пытается что-то лепетать, — все они сметаются этой бурей.

Надо сказать, что Блок тоже принадлежал к категории людей, которых смела эта буря. Едва ли он был настолько наивным, чтобы не понимать этого. Я думаю, не стоит вам напоминать ту знаменитую сцену, для меня очень значимую, когда ночью в революционном Петрограде Блок стоял у костра, к нему подошел Маяковский, и Блок сказал ему: «Да, в Шахматове сожгли библиотеку, хорошо, хорошо...» Почему хорошо? Да потому, что Блок жил вне этических представлений. Напитавшись некими ницшеанскими идеями, он был в экстазе от «музыки революции». Я могу это пояснить таким примером. Однажды я присутствовал на пожаре. Горел соседний дом. К счастью, никто не пострадал, все успели выйти, вызвали пожарных. Была зима, как сейчас. И вот собрались люди и смотрели. И я заметил, что все смотрят с восторгом: гудение этого колоссального пламени, зимой, когда воздух чистый, непрерывные выстрелы взлетающих головешек, буря — ведь дом рушится! — но все равно зрелище катастрофы обладает магическим притяжением, подобно пене за кормом корабля или пляске огня в костре.

Однако в поэме есть одна маленькая «тонкость»: Христос идет с кровавым флагом, в каком-то странном белом венчике из роз, которого не знает христианская иконография. Христианская иконография Запада и Востока изображала Христа в терновом венце, в сиянии нимба (нимб рисовался по-разному согласно различным традициям), но никогда лично я не видел (а я смотрел тысячи картин и изображений), чтобы кто-либо из протестантских, католических или православных, или внеконфессиональных художников изображал Христа в венчике из роз. Ведь такой венчик — это античный символ пиршества, на пиру древние римляне украшали себя венцами из цветов. Это совершенно чуждое образу Христа украшение. Тем более кровавый флаг. Но поэт ведь немножко провидец. Если он хотел сказать, что правда идет впереди, и хотел ее изобразить в виде Христа, — он создал образ фальшивого Христа; это, несомненно, псевдохристос. Блок хотел изобразить Другого? Он и изобразил Другого, это был Другой — тот самый, со своими двенадцатью «апостолами», которые вполне его стоили.

Рядом стоят еще два поэта этой эпохи: Есенин и Андрей Белый.



Андрей Белый был человеком, оторванным от действительности, жившим в вымышленном мире. Перед революцией он жил в Швейцарии, где знаменитый в то время основатель антропософии Рудольф Штейнер устроил центр своей гностической школы.

Штейнер был, по-моему, достаточно одаренной и симпатичной личностью, типичным порождением поздней австрийской культуры на рубеже прошлого и нашего века. Его задача была любопытной: он попытался перестроить индуистствующую теософию на христианский лад, окрасить ее по-христиански. Он говорил, что индийский менталитет и вся астральная индийская структура — иные, нежели европейские. Я не уверен, что это так, но культура действительно иная. И он пытался создать вариант гностицизма, то есть тайного знания, с ориентацией на христианские символы.

Когда я думаю о Штейнере, когда читаю его книги (я читал очень много его произведений), когда читаю о нем, я мысленно оплакиваю его, потому что мне всегда хочется, чтобы такой человек служил истине, служил христианству. Очень жалко и обидно, что он пошел по оккультному пути. В чем отличие оккультного от мистического? Мистическое поднимается вверх, оккультное идет в боковые параллельные вселенные; а поскольку они обманчивы, то человек может всю жизнь проплутать среди этих образов, среди блуждающих огоньков болота, создавать целые системы мирозданий, астральных миров, коридоров, иерархий и завязнуть в этом бесконечном вращении тварного мира.

Я отвлекся на эту тему лишь потому, что Андрей Белый — человек ранимый, неприкаянный, человек, трагически не понявший Церкви. Я должен сказать честно: Церковь была в этом частично виновата, потому что такие хрупкие люди, как Андрей Белый, нуждались в особом подходе. Как говорила одна мудрая женщина, — это овцы стада Христова, но это тонкорунные овцы, и их так просто нельзя взять. Белый как раз и был такой «тонкорунной овцой».

Может быть, кто-нибудь из вас читал «Серебряного голубя», этот роман недавно переиздали. Белый в нем описывает путь интеллигента начала века, который пошел в дикую хлыстовскую секту, где его и убили. Но начинается роман с того, что герой появляется в городе, приходит в храм, где идет служба, где все скучно, все покрыто плесенью быта. Для «тонкорунных овец», изошренных, выросших на Канте и неокантианстве, на символизме, все это было чуждо.

Белый воспринял антропософскую идеологию. Согласно антропософии, Христос — реальная, действующая в мире личность. Но это (я буду говорить упрощенно) не что иное, как дух Солнца. Каждая планета, согласно антропософии, наделена своими духовными мирами и существами, полуфизическими, полудуховными. В какой-то момент истории солярный дух, дух Солнца, стал двигаться к Земле, чтобы изменить духовную оболочку Земли, ее ауру. А поскольку на рубеже столетий действительно в мире что-то менялось, эта концепция казалась очень убедительной и привлекательной. Штейнер раскапывал древние тексты, находил там места, свидетельствующие, что якобы некие ясновидцы видели ночьюдвигающееся Солнце (на самом деле это не так, они имели в виду другое). Так или иначе, Штейнер говорил: «Христос — это духовное Солнце, пришедшее на Землю и изменившее ее ауру». И в мировых событиях Андрей Белый видел это изменение ауры.

Какие же это события? Он приехал из прекрасного далека во время мировой войны и написал поэму «Христос воскрес» полный аналог «Двенадцати». Любопытно, что именно три столпа символизма: Брюсов (но тот был просто труженик пера), Белый и Блок восприняли эти события исключительно восторженно. Должен сказать, что у Андрея Белого восприятие переворота оказалось гораздо более глубоким, чем Блока. Это был некий гимн, восторг библейского созерцания. И форма острая, такая же смелая, как у Блока. Я зачитаю несколько строк, поскольку не все вы, наверное, читали эту поэму.

1  
В глухих  
Судьбинах,  
В земных  
Глубинах,

В веках,  
В народах,  
В сплошных  
Синеродах  
Небес  
- Да пребудет  
Весть:  
- «Христос  
Воскрес!» —  
Есть.  
Было.  
Будет.

2  
Перегорающее страдание  
Сиянием  
Омолнило  
Лик,  
Как алмаз, —  
- Когда что-то  
Блеснувшее неимоверно,  
Преисполнило этого человека,  
Простирающего длани  
*От века до века –  
За нас;*

(Поэма начинается не с распятия, а с прихода Христа на Иордан, когда на Него сходит Дух Божий. Маленькое пояснение: согласно учению Штейнера, Христос был просто человеком, на которого в момент Крещения на Иордане сошел дух Солнца и с Ним соединился. Все это стоит за строками Андрея Белого.)

- Когда что-то  
Заряло  
Из вне-времени,  
Пронизывая Его от темени  
До пяты...  
И провеяло  
В ухо  
Вострубленной  
Бурею Духа: —  
- «Сын, Возлюбленный –  
Ты!»  
Заря  
Огромными зорями,  
В небе  
Прорезалась Назаря...  
Жребий –  
Был брошен.

(Христос идет на служение.)

3  
Толпы народа  
На Иордане  
Увидели явственно: два  
Крыла.

Сиянием  
Преисполнились  
Длани  
Этого человека...

И перегорающим страданием  
Века  
Омолнилась  
Голова.

И по толпам  
Народа  
Желтым  
Маревом,  
Как заревом,  
Запрядала разорванная мгла, -

Над, как дым,  
Сквозною головою  
Веющею  
Верою  
Кропя Его слова, —

Из лазоревой окрестности,  
В зеленеющие  
Местности  
Опускалось что-то световою  
Атмосферою...

(Это картина перемены ауры Земли.)

Прорезывался луч  
В Новозаветные лета...

И, помавая кровавыми главами  
Туч,  
Назаря  
Прорезывалась славами  
Света.

Происходит соединение Христа с Иисусом. А потом Христос умирает. И воскресает.

Поэт дает сцену, которая навеяна не только Евангелием, но и картиной известного немецкого художника Грюневальда, который изобразил Распятие в страшной форме, в ужасной форме, где физическое страдание доведено до предела, где уже кончается искусство и начинается натурализм.

Измученное, перекрученное  
Тело  
Висело  
Без мысли.  
Кровавились  
Знаки,  
Как красные раны,  
На изодранных ладонях  
Полутрупа.

Глаз остекленелою впадиною  
Уставился пусто  
И тупо  
В туманы  
И мраки,  
Нависшие густо.

А воины в бронях,  
Поблескивая шлемами,

Проходили под перекладиною.

5

Голова  
Окрывленного,  
Лохматого  
Разбойника,  
Распятого —  
- Как

и

Он -

Хохотом  
Насмешливо приветствовали  
- «Господи  
Приемли  
Новоявленного  
Сына Твоего!»

И тяжелым грохотом  
Ответствовали  
Земли.

6

В опрокинутое мировое дно,  
Где не было никакого солнца, которое  
На Иордани  
Слетело,  
Низринутое  
В это тело  
Перстное и преисполненное бремени —

Какое-то ужасное *Оно*,  
С мотающимися перепутанными волосами,  
Угасая  
И простирая рваные  
Израненные  
Длани, —  
В девятый час  
Хрипло крикнуло из темени  
На нас:  
— «Или... Сафахвани!»

(«Боже Мой,  
зачем Ты Меня оставил».)

7

Деревянное тело  
С темными пятнами впадин  
Провалившихся странно  
Глаз  
Деревенеющего Лица, —

Проволокли, —  
Точно желтую палку,  
Забинтованную  
В шелестящие пелены —

Проволокли  
В ей уготованные  
Глубины.

Без слов  
И без веры

В воскресенье...

Проволокли  
В пещеры —  
В тусклом освещении  
Красных факелов.

8  
От огромной скорби  
Господней  
Упадали удары  
Из преисподней —

В тяжелый,  
Старый  
Шар.

Обрушились суши  
И горы,

Изгорбились  
Бурей озера...  
И изгорбились доли...  
Разламывались холмы...  
А души —  
Душа за душою —  
Валились в глухие тьмы.

Проступали в туманы  
Неясные  
Пасти  
Чудовищной глубины...  
<...>  
Эти проткнутые ребра,  
Перекрученные руки,  
Препоясанные чресла —  
В девятнадцатом столетии провисли:

— «Господи!  
И это  
Был —  
Христос?»»

Но это —  
Воскресло...

И вот, доведя изображение до последнего предела ужаса, Андрей Белый подводит нас к тайне Воскресения.

Мы над телом Покойника  
Посыпаем пеплом волосы  
И погашаем  
Светильники.  
В прежней бездне  
Безверия  
Мы, -  
Не понимая,  
Что именно в эти дни и часы

Совершается  
Мировая мистерия...

13

Мы забыли: —  
Из темных  
Расколов  
В пещеру, где труп лежал,  
С раскаленных,  
Огромных  
Престолов  
Преисподний пламень  
Бежал.

Отбросило старый камень;  
Сорваны пелены:  
Тело,  
От почвы оторванное,  
Слетело  
Сквозь землю  
В разъятые глубины.

14

Труп из вне-времени  
Лазурей,  
Пронизанный от темени  
До пяты,  
Бурей  
Вострубленной  
Вытянулся от земли до эфира...

И грянуло в ухо  
Мира:  
- «Сын,  
Возлюбленный —

Ты!»

Пресуществленные божественно  
Пелены,  
Как порфира,  
Расширенная без меры,  
Пронизывали мировое пространство,  
Выструиваясь из земли.

Пресуществленное невещественно  
Тело —  
В пространство  
Развевало атмосферы,  
Которые сияюще протекли.

Из пустыни  
Вне-времени  
Переполнилось светом  
Мировое дно, —

Как оно —  
Тело  
Солнечного Человека,  
Сияющее Новозаветными летами  
И ставшее отныне  
И до века —

Телом

земли.

Вспыхнула Вселенной

Голова,  
И нетленно  
Простертые длани  
От Запада до Востока, —

Как два  
Крыла  
Орла,  
Сияющие издалека.

И это своеобразное видение крещения, смерти и воскресения Белый переносит на трагедию Первой мировой войны, на судьбу России и свою надежду, которой Блок, в сущности, не выражал. В «Двенадцати» надежды нет, а последнее его стихотворение «Пушкинскому дому» вообще говорит о другом: «Но не эти дни мы звали, а грядущие века». Для Белого все иначе, все мистично.

23  
Россия,  
Страна моя —

Ты — та самая,  
Облеченная солнцем Жена,  
К которой  
Возносятся  
Взоры...  
Вижу явственно я:

Россия,  
Моя, —  
Богоносица,  
Побеждающая Змия...

Народы,  
Населяющие Тебя,  
Из дыма  
Простерли  
Длани

В Твои пространства, —  
Преисполненные пения  
И огня  
Слетающего Серафима.

И что-то в горле  
У меня  
Сжимается от умиления.

24  
Я знаю: огромная атмосфера  
Сиянием  
Опускается  
На каждого из нас, —

Перегорающим страданием  
Века  
Омолнится  
Голова  
Каждого человека.

И Слово,

Стоящее ныне  
Посередине

Сердца,  
Бурями вострубленной  
Весны,  
Простерло  
Гласящие глубины  
Из огненного горла: —

— «Сыны  
Возлюбленные, —

«Христос Воскрес!»

Это было написано весной 1918 г.

Таковы были эти первые попытки интерпретации революционных событий с помощью языка Библии. Интерпретацию Блока можно назвать либеральной: все равно добро, все равно впереди Христос. Вторая интерпретация — мистическая: в этих бурях совершается рождение нового человека. А следующая интерпретация принадлежит Есенину. Здесь уже настоящий мрак и восстание. Есенин говорит то, чего другие говорить не решались.

Я думаю, что многие из вас знакомы с этими текстами, тем не менее неплохо нам их сейчас вспомнить. Если Блок лишь намекал, что впереди должен идти Другой, то Есенин сказал об этом открыто. Есенин — человек огромной поэтической отзывчивости, стихи его до сих пор затрагивают какие-то струны в нашем сердце, потому что он очень человечен, прост. Это не символист Белый — для избранных. Это и не Блок, который, может быть, и старался прийти к народу, но все-таки тоже был избранным, элитарным поэтом. Есенин мог стать элитарным поэтом, но сознательно им не стал. Он был начитанным, образованным, интеллигентным человеком — он только играл под простачка. Это была его сознательно избранная роль среди столичных интеллектуалов.

Есенин сжился с традиционной церковной, библейской символикой, она была для него языком таким же естественным, как образы природы, образы, связанные с любовью, весной, закатом, осенью. Но когда он увидел это восстание, он его пережил как самое настоящее восстание антихриста! И сказал об этом прямо, со свойственной ему игрой в библейскую «грубость». Вот несколько строк из поэмы «Инония».

Не устращуся гибели,  
Ни копий, ни стрел дождей, —  
Так говорит по Библии  
Пророк Есенин Сергей.

Время мое приспело,  
Не страшен мне лязг кнута.  
Тело, Христово тело  
Выплюываю изо рта.

Не хочу воспринять спасения  
Через муки Его и крест:  
Я иное постиг учение  
Прободающих вечность звезд.

Я иное узрел пришествие —  
Где не пляшет над правдой смерть.  
Как овцу от поганой шерсти, я  
Остригу голубую твердь.

Прекрасные, блестящие слова! Сам антихрист о себе не сказал бы лучше! Поэты ведь не от себя говорят, недаром Пушкин называл поэта эхом. Это в значительной степени бессознательное



творчество.

Подыму свои руки к месяцу,  
Раскушу его, как орех.  
Не хочу я небес без лестницы,  
Не хочу, чтобы падал снег.

И даже то родное, церковное, что всегда было связано с его детством, с его лирикой, с пейзажем, наконец, с его матерью, — все это становится ему противно. Никогда это не было противно Есенину, до конца дней его не было противно; но здесь он говорит как одержимый:

Лай колоколов над Русью грозный —  
Это плачут стены Кремля.  
Ныне на пики звездные  
Вздыбливаю тебя, земля!

Заметьте, уже не музыка колоколов, а лай колоколов! Он восстает на Бога, он произносит кощунства, он проклинает те слова, которые поколениями были священны для людей, даже грубых, те слова, которые поколениями были священны в древнецерковных традициях. В нашей церковной истории — в Византии, древней Руси, Болгарии, на церковном Востоке, — как и в западной церковной истории, было немало темных пятен, и мы этого не скрываем. Но и на Западе, и на Востоке всегда существовала мысль, что Бог охраняет малый остаток, что в Церкви грешников всегда есть оазис, остров праведников. В старинной русской традиции этот оазис назывался градом Китежем, скрытым градом. И вот Есенин пишет:

Проклинаю я дыхание Китежа,  
И все лощины его дорог.  
И хочу, чтоб на бездонном вытяже  
Мы воздвигли себе чертог.

Языком вылижу на иконах я  
Лики мучеников и святых.  
Обещаю вам град Инонию,  
Где живет божество живых!

«Божество живых», какое-то реальное божество, — это, по-моему, даже не требует комментариев. Старая Русь, которая была любима Есениным, здесь невольно оказывается противоположностью новой (невольно, я повторяю это еще раз, — он как одержимый говорит).

Плачь и рыдай, Московия!  
Новый пришел Индикоплов.  
Все молитвы в твоём часослове я  
Проклюю моим клювом слов.

Чтобы не читать всю эту псевдобиблейскую, хотя и безусловно сильно написанную поэму, я закончу ее эпилогом. Поэт пародирует пророка, он видит новый град:

По тучам иду, как по ниве, я,  
Свесясь головою вниз.  
Слышу плеск голубого ливня  
И светил тонкоклювых свист.

В синих отражаюсь затонах  
Далеких моих озер.  
Вижу тебя, Инония,  
С золотыми шапками гор.

И дальше поется песня нового мира: «Слава в вышних Богу и на земле мир!», — так

начинается эта песня. Вы знаете: согласно евангелисту Луке, когда родился Христос, эту песнь пели ангелы. Но на самом деле это была древняя песнь о Спасителе, которую пели уже несколько поколений людей: Сияние Бога на небе, но оно же и на земле среди людей доброй воли.

«Слава в вышних Богу  
И на земле мир.  
Месяц синим рогом  
Тучи проводил.

Кто-то вывел гуся  
Из яйца звезды —  
Светлого Иисуса  
Проклевать следы.

Кто-то с новой верой,  
Без креста и мук,  
Натянул на небе  
Радугу, как лук.

Радуйся, Сионе,  
Проливай свой свет!  
Новый в небосклоне  
Вызрел Назарет.

(Опять библейские ассоциации: есть пророчество о том, что Христос въезжает на Сион, то есть в Иерусалим, на осле - осел знаменовал мир, и пророк Захария говорит: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, и Царь твой грядет к тебе... краткий, сидящий на ослице».)

Новый на кобыле  
Едет к миру Спас.  
Наша вера — в силе.  
Наша правда — в нас!»

И «Спас» пришел, приехал (только не на кобыле — как ни странно, Иосиф Джугашвили, хотя и был горцем, почему-то не любил ездить на лошадях и предпочитал другие способы передвижения). Его призывали и ждали, поэтому он пришел. Такие слова не рождаются просто в фантазии поэта. Я еще раз подчеркиваю, что Есенин здесь выступил медиумом, почти невольным медиумом, проводником какой-то демонической силы, которая заставила его произнести эту библейски-кощунственную поэму.

В то же время жил и трудился у себя в Коктебеле Максимилиан Александрович Волошин. В прошлый раз я вам говорил о том, что из всех поэтов того времени он глубже всех понял ситуацию, глубже всех понял огромную историческую перспективу происходившего. Он не увидел тут рождения апокалиптического нового мира, который виделся Белому, или чистого восстания антихриста, как у Есенина, или некоего абстрактного принципа добра и справедливости, выступающего в образе Христа, как у Блока. Он видел это в огромном масштабе горизонтов всей истории — он знал ее лучше их всех. Для него период 1612 г., Лжедмитрий, события Французской революции, перевороты, которые совершались в мире, были уроками, и он смотрел на события двадцатых годов с этой точки зрения. Проникая в самую суть событий, он часто выражался на языке библейской эсхатологии: «Народу русскому я грозный ангел мщенья».

Почему «ангел мщенья»? Потому что он видел нечто закономерное в катастрофе, которая произошла. Дело в том, что уже тогда, начиная с 1917 г., и в 1920-е годы, да и теперь иногда, многим людям казалось и кажется, что негативные явления, связанные с революционными процессами, были случайностью, их могло не быть. Нет, все это имело свои глубочайшие причины. Они уходили далеко в историю и глубоко в душу человека. Недаром Волошин писал поэму о святом Серафиме Саровском как об идеале русской святости, о протопопе Аввакуме, о трагедиях русской и европейской истории — он мыслил глобально. Странник индийских

воззрений сказал бы, что он мыслит кармически. Я не очень люблю употреблять эти термины, но могу сказать так: он ощущал осмысленность мирового процесса. И не просто так, интуитивно, а на основании своей колоссальной эрудиции и глубокого проникновения в суть вещей. Он был не просто поэтом. Я никогда не забуду, как его вдова рассказывала мне о тушении пожара. Она была достаточно скептической дамой, чтобы что-то выдумывать. Загорелся их дом, и Макс, как все его фамильярно называли, подошел, сделал особый жест руками и медленно пошел на огонь — и огонь отступил. Он дистанционно погасил этот пожар.

Один из исследователей личности и творчества Максимилиана Волошина, Владимир Петрович Купченко — человек, который в молодые годы приехал с Урала в дом Волошина, к его вдове, жил там долгое время, проделал колоссальную работу по изучению биографии и наследия, потом попал под колесо застойных времен, был выброшен оттуда, из музея, в сущности, оклеветан, едва избежал судебного преследования (сейчас он, можно сказать, реабилитирован), — собрал последний том прозы Волошина «Лики творчества». Там есть его серьезные комментарии, надеюсь, они будут появляться и дальше. Он собрал целый томик стихов Волошина на библейские сюжеты, я ему помогал это комментировать.

На одну лишь эту тему мы могли бы говорить несколько часов подряд, ибо каждое библейское стихотворение Волошина содержит в себе глубочайший смысл. Подчеркиваю, я не литературовед и чисто художественные аспекты я здесь не беру. Некоторые люди считают, что Волошин был слабым поэтом, я, правда, согласиться с этим не могу, но нас сейчас интересует совсем другая проблема.

Я бы очень хотел обратить ваше внимание на то, что у Волошина была глубокая интуиция: что катастрофа, которая произошла у него на глазах, это не конец, это не полная катастрофа, а испытание для многих людей, испытание, которое можно пережить с достоинством. Вы, вероятно, знаете пластинку «Голоса, зазвучавшие вновь», которая была выпущена сравнительно недавно, там он читает свое стихотворение «На дне преисподней» памяти Гумилева и Блока. Да, действительно, это было страшное время, и он мог каждую минуту ждать расправы над собой, но замечательно, что он писал о своей стране: «Но твоей Голгофы не покину, от твоих могил не отрекусь».

Это был человек, абсолютно лишенный какого-либо национализма, шовинизма, он был естественным, здоровым патриотом, хотя по матери и был немцем. И среди его стихотворений есть одно, которое является пророческим. Это стихотворение навеяно темой Достоевского.

Вы помните, что, когда Достоевский писал «Бесов», он взял за основу одну из самых странных, загадочных историй в Евангелии (толкователи до сих пор не решили, что там произошло): однажды (я напоминаю тем, кто не читал) Христос прибыл на лодке в пустынное место, где жили язычники, — в восточной стороне моря Галилейского. Там, среди пещерных гробниц, жил бесноватый. Он выскочил оттуда с диким криком, Христос его остановил и избавил от беса. И тут произошло что-то странное. Эта темная сила, которая корежила этого человека, вдруг всколыхнула стадо свиней, которое там пасли язычники, и стадо, обезумев, бросилось в воду.

Повторяю, тайна этого места не расшифрована. Достоевский расшифровывал его исторически: свиньи — это нигилисты, революционеры; демоны разрушения войдут в них, они бросятся в воду истории и потонут. Но история рассудила иначе: бесы в них действительно вошли, но бросились они не в воду, а на людей, так что все произошло несколько более трагично. Волошин берет тот же сюжет и рассматривает его как пророчество.

Был к Иисусу приведен  
Родными отрок бесноватый:  
Со скрежетом и в пене он  
Валялся, корчами объятый.

— «Изыди, дух глухонемой!» —  
Сказал Господь. И демон злой  
Сотряс его и с криком вышел —  
И отрок понимал и слышал.

Был спор учеников о том,  
Что не был им тот бес покорен,  
А Он сказал:  
«Сей род упорен:  
Молитвой только и постом  
Его природа одолима».

(Так действительно рассказывается в Евангелии о другом случае исцеления.)

Не тем же ль духом одержима  
Ты, Русь глухонемая! Бес,  
Украва твой разум и свободу,  
Тебя кидает в огонь и воду,  
О камни бьет и гонит в лес.

И вот взываем мы: «Прииди!»  
А избранный вдали от битв  
Кует постами меч молитв  
И скоро скажет: — «Бес! Изыди!»

Волошин думал и надеялся — и мы эту надежду разделяем, — что демоны разрушения, ненависти, зла, демоны глухонемые, как называл их Волошин (это реминисценция из Тютчева), не навсегда поселились в душе нашего народа, в нашей стране, и что есть средство против них: молитва и пост. Я думаю, друзья мои, что это средство не устарело, оно продолжает сохранять свою актуальность и поныне. Что касается демонов, то у них есть одна особенность: они все время меняют облик и, выступая под разными знаменами, продолжают свое разрушительное дело.

Я хотел вам еще зачитать стихи некоторых других, наших современных советских поэтов на эту тему, но чувствую, что это бесконечно... Вот старый киевский русский поэт Леонид Вышеславский. Он написал небольшое стихотворение «Поэт», по-своему понимая образ Христа. Он изображает Христа как поэта среди прозы жизни. Вы скажете: что за пошлость! Это не пошлость. Для Леонида Вышеславского поэт — это значит святой, тот, кто видит красоту мира; а Христос ее нам показывает.

Теперь мы должны перейти к прозе. Что мы имеем? Я вижу здесь четыре главных произведения «Доктор Живаго», «Мастер и Маргарита», «Плаха» Айтматова и, конечно роман Домбровского. Есть и более мелкие, но мы остановимся на этом.

В первой части «Доктора Живаго» родственник матери главного героя, бывший священник Николай Веденяпин, рассуждает о жизни. Это прекрасные страницы. Он говорит, что Христос принес в мир благоговение перед личностью, что раньше это была давка в три этажа: боги, люди, рабы, которых скармливали рыбам. «Там было сангвиническое свинство жестоких, оспую изрытых Калигул, не подозревавших, как бездарен всякий поработитель. Там была хвастливая мертвая вечность бронзовых памятников и мраморных колонн». И вот приходит Христос, приходит человек, который совсем не «звучит гордо». Он просто приходит и приносит человечность и мир. И вокруг этого вращается мир. Поэтому герой Пастернака говорит о необходимости быть верным Христу. Даже если человек не понял Христа до конца как Богочеловека, но он чтит священность личности, он уже сохраняет какую-то верность Христу. Мысль достойная и глубокая, хотя далеко не исчерпывающая всего.

Надо сказать, что религиозность Пастернака была очень туманной, необязательной. Он был крещеным человеком, в кругу друзей высказывался как человек, принимающий религиозное мировоззрение. Хотя он учился в Марбурге и занимался философией, но не был ни философом, ни теологом. Однако его стихотворения на евангельские темы обладают удивительной особенностью: они чем-то напоминают древние иконы. Средневековые западные иконы очень часто актуализировали события, то есть изображали их на фоне действительности, знакомой человеку своего времени.

Я не буду вам цитировать стихотворение «Рождественская звезда». Вы все помните:

«Стояла зима. Дул ветер из степи. И холодно было Младенцу в вертепе на склоне холма». В истории было не так. Это зима в России. А около Вифлеема в то время было достаточно тепло, так что пастухи на ночь даже не загоняли овец, они всю ночь находились под открытым небом — значит, это было весной или летом. Но нам это неважно: потому что снег, льды — это наше обрамление Рождества. И стихотворение про Марию Магдалину: «Обмываю миром из ведерка я стопы пречистые Твои...» Помню, когда я услышал это впервые лет тридцать назад, меня даже немного покорило: что за ведерко такое? Но потом, вчитываясь, я понял такую простоту, бытовизм этих стихов, напоминающие старые иконы. На иконе фигурируют детали быта, знакомые средневековому человеку. Это не археология, это не события первого века нашей эры, это вечные события (хотя это действительно были события первого века нашей эры), и в них участвуют народные массы, богослужение и сама природа.

Есть одно свойство Пастернака: природа — участница и герой всех его произведений, особенно «Доктора Живаго». Вспомните, как переживают за него окружающие деревья; как, описывая драмы в жизни доктора и его друзей и близких, Пастернак с таким же энтузиазмом описывает, как наступает весна — это тоже для него было событие. Стихотворение «На страстной» — одно из самых прекрасных произведений о православном богослужении: «Еще кругом ночная мгла, еще так рано в мире...» Вспомните, как там описаны деревья: как они расступаются, приближаются — «Они хоронят Бога». Это все вместе — природа, человек, снег, богослужение, Псалтирь и Апостол — все это сливается в удивительную вязь.

И лес раздет и непокрыт,  
И на Страстях Христовых,  
Как строй молящихся, стоит  
Толпой стволов сосновых.

А в городе, на небольшом  
Пространстве, как на сходке,  
Деревья смотрят нагишом  
В церковные решетки.

И взгляд их ужасом объят.  
Понятна их тревога.  
Сады выходят из оград,  
Колеблется земли уклад:  
Они хоронят Бога.

И видят свет у царских врат,  
И черный плат, и свечек ряд,  
Заплаканные лица —  
И вдруг навстречу крестный ход  
Выходит с плащаницей,  
И две березы у ворот  
Должны посторониться.

Или возьмем стихотворение:

Большое озеро, как блюдо.  
За ним — скопление облаков,  
Нагроможденных белой грудой  
Суровых горных ледников.

По мере смены освещения  
И лес меняет колорит.  
То весь горит, то черной тенью  
Насевшей копоты покрыт.

Когда в исходе дней дождливых  
Меж туч проглянет синева,

Как небо празднично в порывах,  
Как торжества полна трава!

Стихает ветер, даль расчистив.  
Разлито солнце по земле.  
Просвечивает зелень листьев,  
Как живопись в цветном стекле.

В церковной росписи оконниц  
Так в вечность смотрят изнутри  
В мерцающих венцах бессонниц  
Святые, схимники, цари.

Кажется, это действительно храм, на который он смотрит. Это храм в его душе, потому что то реальное озеро, которое он описывает (я видел его), на самом деле маленький прудик, раза в два шире, чем это помещение; но поэт так воспринимал его — как картину мира. И на этом фоне совершались события духовные:

Природа, мир, тайник Вселенной,  
Я службу долгую твою,  
Объятый дрожью сокровенной,  
В слезах от счастья отстою.

И, наконец, стихотворение о смерти, тоже из «Доктора Живаго»:

Обыкновенно свет без пламени  
Исходит в этот день с Фавора...

Что это за слова? Почему «в этот день»? Потому что Церковь верит, что события прошлого, великие события жизни Христа вырываются из потока времени. (Поэтому мы поем на Рождество: «Дева днесь Пресущественнаго рождает...» Не «Дева родила Его две тысячи лет назад», хотя это так и было, а Она сегодня, *днесь*, рождает — для нас это актуально сегодня. В этом и торжество: здесь, сегодня все это происходит.

Поэтому актуализация здесь оправдана, одухотворена и позволяет нам многое видеть. Ведь, как герой романа, доктор Живаго, открывает Его Завет, Завет Христа и «как от обморока ожил», все мы живем как в обмороке и, слушая слова Христа, мы можем очнуться, пока приходит Воскресение.

Пастернак дерзает сказать прямо от лица Христа, и только внутреннее чувство поэта позволяет ему это:

Я в гроб сойду и в третий день восстану,  
И, как сплавляют по реке плоты,  
Ко Мне на суд, как баржи каравана,  
Столетия поплывут из темноты.

Снова образ взят не из библейской истории, а из того, что Пастернак подглядел, скажем, на Волге или еще на каких-то реках, где сплавляют бревна. Но он увидел это как символ истории: столетия плывут ко Христу...

Человек другой культуры, Чингиз Айтматов поражает нас еще большей смелостью. Ибо Пастернак вырос на библейской и европейской культуре — в музыке, поэзии, литературе, философии, а Чингиз Айтматов провел суровую юность в совершенно ином культурном климате — мусульманском, в тяжких условиях: отец его был репрессирован, и сам он занимался не музыкой, не философией, как Пастернак, а был зоотехником, это занятие мало способствует литературе. Для вас, горожан, это звучит не совсем понятно, но я проходил в свое время ветеринарию, поверьте мне, это малоромантическое занятие.

Айтматов затронул в своем творчестве глубокие нравственные катастрофы нашего

общества, и это ставит его в один ряд с ведущими российскими писателями; это традиция, которой двести-триста лет. Он не похож, скажем, на Флобера, который часто писал для того, чтобы написать, и сказать ему было нечего, он мог только что-то рассказать. Между тем Айтматов, человек, который пишет не на языке своего детства, создает совсем новый мир. Он знакомит нас с миром природы, упорно уничтожаемой в нашем столетии, он входит в детскую душу, душу ребенка; и в романе «Плаха» он ставит, я бы сказал, апокалиптическую для нас тему наркомании. Это вам не алкоголизм. Чтобы стать алкоголиком, надо немножко «поработать», а наркоманом можно стать с одного раза, такова психофизическая природа человека.

Этому миру отбросов, черных людей он хочет противопоставить носителя добра. И здесь все трагично. Он ищет. Какой-нибудь Николай Островский повел бы туда, к этим горцам в Среднюю Азию, юного идейного большевика типа Павки Корчагина, который пытался бы их вылавливать и истреблять. Но Айтматов прошел другую школу, он уже знал, что всего этого недостаточно. Ему захотелось найти некую нравственную точку отсчета для новой шкалы. И, будучи человеком, в общем, внерелигиозным, он обратился к христианской традиции.

Его спрашивали, почему именно христианской, ведь он же мусульманин по культуре. Он ответил, что христианство в духовном и нравственном смысле лидирует сегодня в мире, он признал это как объективный факт. И он захотел изобразить современного Христа. Я не могу сказать, что мне лично импонирует этот образ студента Авдия. Конечно, он напоминает мне скорее князя Мышкина в современном варианте. Достоевский хотел сделать князя Мышкина новым Христом. Это не получилось. Христос Евангелия — другой.

В чем трагедия Авдия? Этот юноша скорее похож не на православного молодого человека, а на баптиста. У нас баптисты — самые рьяные христианские проповедники, вызывающие глубочайшее уважение и симпатию, но в силу ряда причин они не ищут общего языка с окружающим миром и бьют сразу напрапалую. То есть, кто их услышал — хорошо, кто нет — плохо. И герой романа Айтматова настолько чужд этой среде уголовников, что говорит с ними, как на китайском языке, диалога никакого нет, все это пустое занятие, попытка с негодными средствами. Осуждать героя нельзя, такие люди есть, я таких видел. Авдий — не вымысел. Но на Христа он не похож. Хотя Айтматов вовсе не ставит между ними знак равенства, но параллель явно проводится: Христос стоит перед Пилатом, который Его не понимает. Но на самом деле между Пилатом Айтматова и Христом Айтматова гораздо больше понимания, нежели между бедным Авдием и этими уголовниками. Там просто бездна лежит, и разговор там состояться не может.

В вымышленном диалоге между айтматовским Пилатом и айтматовским Христом проскальзывают молнии, там иногда есть даже очень интересные мысли. «Когда Ты вернешься к нам?» — спрашивает Пилат. И Христос отвечает: «Когда вы ко Мне придете». Над этим стоит задуматься. Я не уверен, что Айтматов богословски это осмыслил, но что-то водило его рукой. На вопрос, почему он так изобразил Христа, он честно признался, что Христос — это целый космос, и каждый писатель берет от Него только небольшую грань. Эти слова очень важны. Может быть, стенограмма нашей встречи в Западном Берлине все-таки будет где-нибудь опубликована и эти слова Айтматова сохранились. Вы их запомните, он верно сказал: «Христос — это целый космос, и никто не может Его объять».

И, наконец, Домбровский. Настоящий герой нашего времени, настоящий человек, смелый, эпатазирующий озорник, в нем есть немного от Солженицына, но в нем больше юмора, больше озорства, чем у Солженицына. В его романе «Факультет ненужных вещей» некий полоумный бывший батюшка создает книгу о Христе (всех прямо тянет к этой теме), и отрывки из нее фигурируют в романе.

Но в чем же здесь смысл? Смысл этой попытки интерпретировать историю Христа — сугубо советский, я бы сказал, сталинистский. Потому что этот священник, автор книги о Христе, подозревает, что был еще один предатель, кроме Иуды. В самом деле, согласно старому закону (впрочем, и у нас он действует), нужны были два свидетеля, чтобы подтвердить показания. И в одном из древних текстов сказано, что Иисус был обвинен при двух свидетелях. Герой Домбровского задает вопрос: «Двое было — и кто же это был?» Он делает все время многозначительные намеки: «Значит, кто-то еще из двенадцати? Не сам ли Петр, который

отрекся?» Вот эта *стукачебоязнь* — типичная болезнь нашего времени. Обвинять наше поколение в этом нельзя, потому что люди прошли через такую школу гнусности, что действительно уже не доверяли самим себе. Это единственный в своем роде вариант — что среди двенадцати был еще какой-то стукач, — это, так сказать, апофеоз советской интерпретации евангельской истории.

Время неумолимо бежит, но я все-таки не могу пройти мимо Михаила Афанасьевича Булгакова.

Здесь мы попадаем в еще более сложную ситуацию. Когда книга впервые была напечатана в журнале, очень многие люди приходили ко мне и спрашивали: это что же теперь — Евангелие от Воланда? Но эта интерпретация ничего не означает, это пустые слова. Во-первых, начнем с того, что Воланд в романе Михаила Афанасьевича — это не дьявол. Дьявол — начало разрушительное, это зачеркивание всех эстетических и этических ценностей. А Воланд, несмотря на свои копыта, грязную рубашку и всякие фокусы, — он же исходит из принципов здоровой, нормальной морали. Он, несомненно, нравственно превосходит советских москвичей двадцатых годов. Давайте вспомним, как он снисходительно говорит о людях: они такие же, как сто лет назад, им тоже надо и то и то. Разве это говорит дьявол? Считать Бегемота дьяволом, пускай даже второго ранга, — это совершенное безумие: Бегемот просто душка. Даже карикатурный дьявол у Гоголя никогда не вызывает симпатии, а тут — кот который сидит и «починяет примус». Даже довольно мерзкий Коровьев — не дьявол. Давайте вспомним, что роман был немного недописан, что он написан каким-то особым образом, что это было вдохновение, а не вычисление, это не была художественно сформулированная идея.

Что же было в романе? На что он похож в библейском отношении? На Евангелие? Нет, не на Евангелие. Он похож на Книгу Бытия. Может быть, вы несколько удивитесь, это действительно может показаться странным, но я попытаюсь это вам в двух словах объяснить.

Разумеется, Творец пребывает повсюду. И нет места во Вселенной, где бы не было Его присутствия. Там, где Его нет, — не бытие. Но для развития человеческого духа необходимы какие-то особые кризисы, которые мы в библейской традиции называем «Господь посетил». Вдумайтесь: слова эти антропоморфны, то есть человекоподобны. Что значит «посетил»? Я могу посетить своего друга, потому что я человек, находящийся во времени и пространстве. Могу к нему прийти, могу уйти. Но как же Бог может посетить? Это образ, конечно. Это значит, что Он поставил нас перед определенным испытанием. История Авраама и трех странников — это история чудесного посещения: Бог пришел проверить, в каком состоянии находится мир, в данном случае Содом и Гоморра. Надо сказать, что библейский автор не был столь наивен, чтобы полагать, будто Богу «оттуда», простите меня, не видно, что делается в этом гнусном городе, чем там занимаются содомиты. Но это некий кризис, некая проверка, некий стук в дверь, напоминание; именно отсюда берут начало сюжеты чудесного посещения.

Их в истории литературы много. Классическим сюжетом было посещение тремя странниками Авраама, а если перейти ближе к нашим временам — история, описанная в «Фаусте», еще ближе — у Герберта Уэллса есть «чудесное посещение»: как пастор подстрелил ангела во плоти, и тот попал в викторианскую Англию и стал смотреть, как живут люди. Изумление и трагедия этого ангела показали тупость и дикость нашей жизни.

Так вот, «Мастер и Маргарита» — это тоже книга о чудесном посещении. Кто-то посылается из иных миров, чтобы испытать нас, Москву. И вот что происходит: все приходит в движение, все эти лихоеевы, варенухи, вся Москва приходит в движение. И выплывает весь портрет ее. Портрет неоднозначный: тут и любовь Маргариты, и драма Ивана Бездомного, и трагедия Мастера, и гнусности всех алоизиев могоарычей и так далее, то есть вся гамма жизни. И вспомните, что в конце, когда свита Воланда покидает Землю, весь этот шутовской наряд с них слетает.

Поскольку в этот период люди предавали других и себя, то в романе нужно было поставить еще одну тему — о предательстве. Как ее сделать вечной, надвременной темой? Путь традиционный: надо ее изобразить через Евангелие. Но у Булгакова было желание создать что-то новое, это свойственно любому писателю.

В те годы, когда он писал «Мастера и Маргариту», появилось огромное количество



литературы, в которой доказывалось, что, во-первых, Христа не существовало; во-вторых, если Он и существовал, то о Нем написано все неверно; в-третьих, ни одного подлинного Его изречения до нас не дошло и так далее. Я всю эту литературу читал от корки до корки, от первых книг, которые вышли еще в 1919 г., и вплоть до конца тридцатых годов, когда все эти ревнителю атеизма нашли свой печальный конец в сталинских лагерях. Впрочем, их не за это брали — брали ни за что, как и других людей. Было тогда кооперативное издательство «Атеист», оно пыталось стать самоокупаемым и закрылось из-за того, что не могло окупить себя. Какой только белиберды они не издавали! Там были десятки названий (я, повторяю, все это читал), где на разные лады варьировалась одна и та же тема.

Хронологически это совпадает как раз с тем моментом, когда Булгаков работал над «Мастером и Маргаритой». Мировоззрение Булгакова до сих пор достаточно неясно, и мы не будем строить никаких гипотез. В письме к Сталину он назвал себя мистическим писателем,

Он решил создать свой вариант евангельской истории. Причем, я должен вам сказать, что не все детали романа целиком им изобретены. Существовало несколько довольно поздних апокрифов, из которых он кое-что взял. Но дело не в этом. Он решил изобразить Христа. А ведь у него было огромное чутье великого мастера, что некоторые вещи художественно изобразить невероятно трудно. Но он рискнул.

Солженицын когда-то мне говорил: почему Булгаков понял, что нельзя изображать Пушкина (вы помните, у него есть пьеса «Последние дни»; Пушкина там нет, он присутствует где-то рядом, только тело его проносят после дуэли; но какое огромное чувство присутствия!), а что Христа не надо изображать, он не понял? На что я тогда ответил Александру Исаевичу, что он ведь вовсе не изображал Христа! Тот персонаж, который именуется Христом, Иешуа Га-Ноцри (так действительно звали Христа, Иисус Назарянин, по-русски), обладает совершенно другим характером. Это другой образ, немного простоватый, немного наивный, очень милый. Тот из вас, кто читал Евангелие, знает, что Христос никогда не был **милым** в обычном смысле этого слова. Персонаж Булгакова говорит палачу Марку Крысобою: «Добрый человек!» Ведь все люди добрые, — говорит Иешуа Га-Ноцри, — просто их, как говорится, среда заела. Но Христос никогда так не говорил. Он говорил: «Горе вам, книжники и фарисеи! Горе вам, порождение ехидны!» (по-нашему — змеиное отродье). Когда Ему сказали, что Ирод (Ирод Антипа, сын Ирода Великого, который избивал младенцев) хочет Его увидеть, Христос понял, что не увидит он хочет, а арестовать, и ответил: «Скажите этой лисице...» или «Скажите этому шакалу...» (можно и так перевести это слово).

Ясность, властность, дух вождя присутствуют в Христе. При всей Его кротости, при всей Его любви к людям никогда ничего розового в Нем не было. Я хочу еще раз вам напомнить весьма справедливые слова Сергея Сергеевича Аверинцева о том, что в древней Руси (кстати, как и в Византии) было два образа Христа: суровый, новгородский — сдвинутые брови, «Спас — ярое око», и мягкий «Спас Звенигородский», который по преданию приписывали Рублеву. Аверинцев пишет, что оба эти образа соответствуют Евангелию, это две грани неисчерпаемой личности Христа. А у Булгакова это что-то третье. Это такой милый, добренький человек, бродячий философ. Христос никогда не был философом, уж тем более бродячим.

Гилберт Кийт Честертон говорит, что меньше всего Христос выполнял бы Свою миссию, если бы Он бродил по свету и растолковывал истину. Его жизнь можно описать, скорее, как поход. Как военная компания, она имела цель, а не была блужданием, как будто Он не знал, куда Он идет. Но вдруг с этим милым, трогательным образом Иешуа Га-Ноцри, невинного страдальца, этого двойника Христа, очень далекого от Него, что-то происходит. Я думаю, это связано с тем, что, даже создавая псевдохриста, любой человек невольно начинает к Нему, к настоящему, приближаться. Вдруг, вопреки логике, как говорится, рассудку вопреки, в конце романа кто начинает распоряжаться судьбами людей? Этот бродячий философ. Он назначает место и Мастеру, и Пилату, и Маргарите, всем. Он вдруг переходит в другое измерение, уже и Воланд должен считаться с Ним. Впервые в тихой, маленькой, камерной мелодии пострадавшего бродячего философа вдруг звучат органнне трубные звуки, и за этим образом проглядывают подлинные очертания Лица Христова.

Я думаю, что, если бы прошли еще годы, Булгаков как-то свел бы в романе все воедино. Но

пусть это остается именно так, пусть эти противоречия несоединимы, пусть это псевдохристос. Это доказательство того, что, приближаясь к Его теме, приближаясь даже косвенно, даже почти по ложным путям, мы в конце концов оказываемся к Нему ближе, чем мы думаем. Ибо, как говорил апостол Павел: «Он недалеко от каждого из нас».

## **Библия и литература XX века** **Беседа третья**

Мы подходим к концу нашего путешествия, в котором Священное Писание раскрывается нам на фоне русской литературы прошлого, а теперь уже и настоящего. Сегодня я коснусь литературы преимущественно дореволюционного периода. Именно в начале XX в. раскрылись новые необычайные дарования в Петербурге, в Москве и в Киеве.

Именно тогда возникает русская библейская историческая школа, основателем которой был академик Борис Александрович Тураев. Этот чудесный человек, проживший короткую жизнь (он умер пятидесяти лет, в 1920 г., от голода), человек, который стоял в первых рядах исследователей древнего Востока, переводчиков древних литературных памятников, человек, который свободно владел чтением иероглифов, клинописи, который создал целую школу востоковедения. Он был членом Собора Русской Православной Церкви 1917—1918 гг. Митрополит Евлогий (Георгиевский) вспоминает о нем, что это был святой человек, знавший богослужение лучше духовенства.

Борис Александрович Тураев первым решительно внес в изучение Библии новейшие по тогдашнему времени методы литературной и исторической критики, при этом оставаясь строго православным. Он доказал целому поколению богословов, что научное, литературно-критическое и литературно-историческое исследование Священного Писания, поиск подлинной датировки той или иной части Библии, не легендарно-традиционной, но именно подлинной, не противоречит нашему благоговейному отношению к Библии как к Слову Божию. Здесь выдающийся деятель мировой и русской культуры XX в. сомкнулся с высказываниями о Священном Писании, которые мы находим в ранние времена, уже у Максима Грека и Григория Сковороды.

Вы помните, что мы с вами еще при первых наших встречах говорили о концепции, отделявшей литературно-историческую плоть Библии, в чем-то преходящую, от вечного ее содержания. Но, как правило, охватить эту великую тайну — двойственную богочеловеческую природу Библии — было под силу далеко не всем писателям, мыслителям, поэтам. Все время наблюдался крен либо в сторону божественной священности, и тогда в Библии считали боговдохновенной каждую запятую, либо смотрели на нее просто как на произведение древней литературы. И то и другое неверно. Это напоминает нам споры об уникальной Личности Спасителя Христа, которые происходили в эпоху первых Вселенских Соборов, ибо одни пытались видеть в Нем только человека, другие — только Бога, как, например, еретики типа монофизитов. А тайна христианства — в Богочеловеческом синтезе. Эта тайна отражается и в самой Библии.

В качестве образца чисто человеческого толкования Библии мы можем взять понимание книги «Песнь Песней». Вокруг нее давно велись споры. Еще в ранние античные времена многие говорили, что это просто песнь о любви, и пытались вычеркнуть ее из библейского канона, когда канон Библии еще не был зафиксирован. Но один из иудейских учителей сказал, что тайна этой книги столь велика, что, может быть, никогда от сотворения мира не было сказано таких великих слов; не все это поняли, но авторитет этого учителя был велик, и поэтому споры прекратились.

В IV в. христианский толкователь Феодор Мопсуестский, житель Сирии, друг Иоанна Златоуста, выступил с такой же концепцией: «Песнь Песней» — только любовная лирика. Но его концепция была отвергнута всеми раннехристианскими толкователями и осуждена на V Вселенском Соборе. В том же IV в. святой Григорий Нисский дает мистическое толкование этой книги. В XIX в. один из основоположников русской библейской исторической школы и русской филологии протоиерей Герасим Павский пишет, что это книга о любви.

Как же понимать ее? В 1908 г. была опубликована повесть Куприна «Суламифь». Наверное, многие из вас читали ее. Куприн пытался интерпретировать эту библейскую книгу в духе не то чтобы историческом, а чисто земном.

Те из вас, кто хочет познакомиться с текстом самой книги «Песнь Песней», легко могут это сделать, взяв перевод Дьяконова, уже несколько раз у нас опубликованный.

Наиболее известное издание — «Библиотека всемирной литературы», 1-й том. Есть также довольно известный перевод Эфроса, изданный в 1909 г. в Петербурге. Мне он больше нравится; впрочем, всякий перевод есть только перевод.

Библейская «Песнь Песней» как бы не имеет сюжета. Это возгласы любви, это восторженные и, я бы сказал, довольно странные описания природы и восхваления то жениха, то невесты, то хора, который им вторит. Из этих разрозненных гимнов «Песни» Куприн выстраивает повесть о великой любви царя Соломона и девушки по имени Суламифь. Она пылает любовью к юному и прекрасному царю Соломону, но ее губит ревность, ее губят интриги, и в конце концов она погибает; именно об этой гибели и говорят строки библейской поэмы «Песнь Песней»: «Сильна как смерть любовь». Это могучие, вечные слова.

У Куприна не было никаких исторических оснований для такого сюжета, все это чистый вымысел. Если бы речь шла не о красивой новелле, я бы сказал, что все это вздор. Он имел право создать такую картину, как художник, но и только.

Хотя книга называется «Песнь Песней Соломона» (что значит «Самая замечательная песнь Соломонова»), она написана не от лица Соломона. Древний библейский царь упоминается там в третьем лице, причем явно недоброжелательно. И если вычленять оттуда какой-то единый сюжет, то речь идет совсем о другом: о девушке, которая любит пастуха. «Где ты, мой возлюбленный, пасешь своих овец?» — спрашивает она. Она убегает из дворца, стража ловит ее ночью на улице, а она не хочет идти во дворец, в гарем Соломона. Как все восточные цари, Соломон имел гарем — в древности считалось, что чем больше гарем, тем более значителен царь. Это было престижно — иметь большой гарем, как теперь собирать какие-нибудь коллекции. Я бы сказал, что при такой интерпретации библейская книга является антисоломоновой. Это книга протеста против псевдолюбви, против психологии сераля, где собраны девушки со всех концов света, которые живут практически без любви. И это легко понять.

Мне доводилось быть в гареме — бывшем гареме в Хиве. Это огромное здание, целое общежитие, и гид, который нас сопровождал, даже сказал мне без иронии, что нужен был «отдел кадров», потому что учреждение слишком огромное. Конечно, невозможно даже себе представить какие-либо личные отношения эмира с женщинами, которые там жили. Речь идет уже не о многоженстве, это просто какая-то толпа. И Соломон, вероятно, не мог упомянуть своих жен даже в лицо — согласно библейскому преданию, у него было семьсот официальных жен.

Естественно, что человек, воспитанный на древней библейской традиции, где говорилось о том, что Бог создал двух и «да будут двое плоть едина» (это очень древний текст) — плоть не в каком-то отвлеченном смысле, а именно вот эта самая плоть, единая плоть, — воспринимал это как надругательство над любовью, что вызывало скрытый религиозный и сердечный, нравственный протест. Вот почему в XIX в. толкователи пытались интерпретировать эту книгу как драму, изображавшую пленение девушки из крестьянской семьи, которую за красоту притащили в гарем к Соломону. На нее смотрят дочери иерусалимские, а она говорит: «Я черна, потому что загорела под солнцем...»

Суламифь — это вовсе не имя. Она суламитянка, дочь Суламита — это была такая местность; имя ее в Библии не упомянуто. Есть предположение, почему она названа уроженкой Суламитской области. Когда отец Соломона, царь Давид, одряхлел (а он очень рано, по нашим понятиям, стал старым и дряхлым — слишком бурной была его жизнь, и царем он стал в тридцать лет), к нему была приставлена девушка-наложница, которая должна была согреть умирающее тело царя, — Ависага Сунамитянка. Хотя быть наложницей умирающего царя и считалось весьма престижным, я думаю, едва ли ей это было очень приятно. Как бы то ни было, ее привозят во дворец, и она оттуда бежит; она ищет своего возлюбленного по горам, и он весной встречает ее как свою единственную любовь. Единственную! «Одна ты у меня, голубица, —

говорит он, — одна-единственная». Такова природа любви: по-настоящему можно любить только одного человека.

И тогда мы с вами скажем: ну что ж, если Куприн и был не совсем прав в исторической интерпретации, он все-таки был прав, как и те, кто толковали это так, начиная с Феодора Мопсуестского, в том, что «Песнь Песней» — это просто книга о любви. Как же попала эта книга в Библию и для чего она туда попала? Величие Библии в том, что, она приняла в свое лоно книгу о любви. Ибо среди человеческих чувств одно из самых сильных и прекрасных — это любовь мужчины и женщины. Если мы эту любовь извращаем, топчем, окарикатурируем, унижаем, то виновата здесь не любовь, а мы сами. Это может быть подтверждено следующей особенностью библейской символики: многие пророки говорили о Боге как о *муже* религиозной общины. Он — господин и любящий супруг. Таким образом, союз любви, где двое — плоть единая, сравнивался со священным союзом между общиной верующих и Творцом.

Этот символ, глубокий и емкий, повторяется впоследствии в «Посланиях» апостола Павла, например, в том самом месте в Послании к ефессянам, где говорится о муже и жене, — мы читаем его при совершении таинства брака, венчания. Апостол говорит, что муж и жена — это одно тело, и что хотя муж — глава жены, но он должен так же любить ее и переживать за нее, как человек за свое тело. «Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, — говорит апостол, — но питает и греет ее». И дальше он продолжает: «Тайна сия велика, я говорю о Христе и о Церкви». То есть апостол переносит это уже на отношение Христа и Его общины. Тем самым и апостол, и авторы Ветхого Завета бесконечно возвеличивают саму любовь. И «Песнь Песней» становится книгой полисемантической, многоплановой: это и книга о любви, и книга об общине, о Церкви, это книга мистическая.

Недаром многие мистики, начиная с Григория Нисского (потом на Западе за ним последовали испанский поэт Хуан де ла Крус, французский мистик Бернар Клервоский и другие), пишут мистические толкования на «Песнь Песней». Оказывается, в этих строках скрывается очень много содержания. Это не просто лирика, это вечная красота.

Там есть одна тайна, которая до сих пор не разгадана. Неведомый священный, библейский поэт прибегает к так называемой концептуальной символике. Концептуальная символика в литературе означает систему образов, которые нельзя передать пластически. Я приведу хрестоматийный пример. Когда апостол Иоанн пишет Апокалипсис, он изображает явившегося ему космического Мессию такими чертами: из уст Его исходит огненный меч, ноги Его подобны колоннам, раскаленные волосы как лава и т.д. И вот Альбрехт Дюрер, немецкий художник, в своих гравюрах к Апокалипсису пытается передать это дословно, как написано, и получается абсурдная картина: этого нельзя изобразить.

Второй пример: пророк Иезекииль пишет, что небесная колесница несла Божию Славу, и в этой колеснице движущими силами были четыре существа, символизирующие мир пернатых, мир скота, мир полевых зверей и человека. И сказано, что они шли на четыре стороны. Как можно себе представить такую колесницу, где четыре животных бегут одновременно на четыре стороны? Вот это и есть концептуальная символика. Она вся насквозь парадоксальна. Изобразить ее можно только крайне условно, языком иконы, но не языком реалистической живописи или гравюры.

Такой же странной символикой насыщена «Песнь Песней», где жених говорит о своей невесте, о ее красоте. Если мы возьмем обычную лирику, что можно сказать о прекрасной девушке? Что она как весна, что у нее прекрасные глаза... Здесь же ничего подобного: в «Песни Песней» такие странные сравнения, что у русского толкователя прошлого века М. А. Олесницкого возникло сомнение, о женщине ли здесь вообще говорится? Ибо ее нос, например, сравнивается с башней, обращенной к Дамаску. Боюсь, что как комплимент это звучит несколько странно. Жених разбирает каждую часть ее тела и дает сравнения: эта часть похожа на стадо овец — тоже сомнительно. Профессор Киевской духовной академии Олесницкий высказал предположение, что речь идет о Святой земле, которая уподобляется женщине; что невеста во всех частях своего тела олицетворяет Святую землю, поэтому она так странно и описана. А раз она олицетворяет Святую землю, значит, и Церковь: сначала ветхозаветную, а потом и всемирную новозаветную. Олесницкий очень подробно развил и аргументировал свою точку

зрения.

Таким образом, мы видим, что Библия как бы начинает с простого (и это позволило Куприну дать такую незатейливую трогательную интерпретацию), но если углубляться дальше, мы приходим к мистической тайне единства между людьми и Творцом. Одно другого не исключает. Более того, когда автор «Песни Песней» говорит: «Сильна как смерть любовь», — он говорит и о нашей любви к женщине или к мужчине, и о любви ко Христу, к Богу, потому что и то, и другое есть любовь, могущественная, как смерть.

В начале века, в те же годы, почти одновременно, появляется в русской литературе другая библейская интерпретация, с которой вы теперь можете познакомиться. Это повесть об Иуде Искарите, написанная Леонидом Андреевым. Она вошла в один из сборников Леонида Андреева, который издан пару лет назад. Я бы сказал, это крайне слабая книга. В ней есть попытка создать атмосферу значительности, атмосферу каких-то странных намеков, но в конце концов они лопаются, как мыльный пузырь. Образ Христа абсолютно не удался. Образ Иуды — надуманно-декадентский. Он такой же истеричный и бестолковый, как многие герои той эпохи. Это игра в достоевщину: якобы Иуда так любил Христа, что в конце концов Его возненавидел. Это упрощение концепции Достоевского, и все это звучит крайне неубедительно.

Наверное, некоторые из вас читали эту повесть. Прочтите ее, может быть, стоит, но она ничего не даст вам, потому что это совершенно ложная концепция. Иуда, который совершает предательство из каких-то утонченных, крайне запутанных соображений, Иуда, который хочет славы Учителя, который хочет толкнуть Его на крест, чтобы всегда быть рядом с Ним, вечно... Мы, люди конца XX в., отлично понимаем, что для того, чтобы понять предательство, не нужно этой извращенной псевдопсихологии. Мы слишком часто сним сталкивались в самой грубой, тяжелой, элементарной форме.

Иуда, так же как и другие апостолы, думал, что он пошел за будущим великим царем, и искал для себя чести и славы. Вспомните, апостол Петр, который больше всех любил Христа, сказал: «Вот, мы и оставили все, что нам за это будет?» Простой человек... Так же рассуждал и Иуда. Но все-таки в Петре и в других апостолах победила любовь, когда они увидели, что ничего им не будет кроме того, что над ними нависла опасность. А Иуда, увидев это, почувствовал себя обманутым, понял, что дело проиграно, и стал на сторону победителей. Поспешил стать. Разве это не понятно? Разве для этого нужно брать какую-то патологическую личность или извращенную психологию? Тысячи и даже миллионы людей в последние десятки лет торопились стать на сторону победителей. Разве для этого нужны какие-то особые объяснения?

Я знаю, что для многих людей фигура Иуды всегда кажется притягательной; недаром о нем столько писали, недаром к нему столько раз возвращались. Меня это, откровенно говоря, удивляет. Быть может, в розовом XIX веке, среди узкого круга тех аристократов, которые старались отгородить себя от реальной жизни, или в викторианской Англии, в тех кругах, где старались не видеть окружающего, фигура Иуды казалась монстроидно-чудовищной. Для нас она вполне нормальна. К сожалению.

Кстати, Леонид Андреев написал на библейскую тему не только эту неудачную вещь. У него есть другая, более удачная. Она называется «Самсон» — о библейском герое Самсоне. Но, насколько я знаю, она была издана лишь за рубежом, я читал ее в зарубежных изданиях.

В те же годы к библейской тематике обращается Дмитрий Сергеевич Мережковский.

Это был странный человек, составлявший как бы одно целое со своей замечательно умной женой Зинаидой Николаевной Гиппиус. Человек, заставший еще Достоевского — он ходил к нему в детстве. Человек, умерший, когда уже бушевала Вторая мировая война. Человек, много писавший о России, решительно не принявший революцию и до конца сохранивший абсолютное отрицание того, что произошло. Антибольшевизм супругов Мережковских был наиболее бескомпромиссным, последовательным до конца. У них не было здесь никаких колебаний и уступок. Поэтому в эмиграции, куда они бежали, тайно перейдя через границу с Польшей, они оказались, в общем, в изоляции.

Мережковский — удивительная фигура. Еще до революции его переводили почти на все европейские языки. Автор романов, пьес, огромных критических исследований, публицист, переводчик греческих трагиков, создатель блестящей серии биографий, среди которых есть даже

жизнеописание Иисуса Христа, «Иисус Неизвестный», вышедшее в Югославии в 1931 г. У нас последняя книга Мережковского, если мне не изменяет память, вышла в 1918 г. Это была книга «14 декабря». Потом вышла еще одна книжка о Некрасове и Тютчеве, потом — эмиграция, и больше его книги здесь не выходили. Он был историком культуры, обладавшим странным видением мира, и поэтом классического типа. У него есть целый ряд стихотворений, посвященных Библии. Его книга о Христе «Иисус Неизвестный» занимает особое место в русской литературе, и я коснусь ее в нашу последнюю, завтрашнюю встречу, потому что она написана после революции. Сегодня я хочу затронуть только те произведения, которые были написаны в дооктябрьский период.

В молодости Мережковский был знаком с Надсоном, когда-то популярным, рано умершим поэтом, но влияние это постепенно преодолел, хотя частично оно и осталось. Он сделал полное стихотворное переложение Книги Иова — первое после Ломоносова. Довольно интересный и яркий перевод, где Мережковский отметил драматическую, диалогическую структуру этой книги. В частности, вот как он передает самую горькую страницу книги, когда Иов постиг, что праведность не спасла его, что Бог от него отвернулся, что правды нет, что он брошен в объятия рока.

Стихотворный перевод Мережковского почти дословен.

Да будет проклятым навек  
Тот день, как я рожден для смерти и печали,  
Да будет проклятой и ночь, когда сказали:  
«Зачался человек».  
Теперь я плачу и тоскую:  
Зачем сосал я грудь родную,  
Зачем не умер я: лежал бы в тишине,  
Дремал — и было бы спокойно мне,  
И почивал бы я с великими царями,  
С могучими владыками земли, —  
Победоносными вождями, —  
Что войны некогда вели,  
Копили золото и строили чертоги...  
Я был бы там, где нет тревоги,  
Где больше нет вражды земной,  
Где равен малому великий,  
Вкушают узники покой...

В этом уже есть и сомнение в том, что возможно какое-то посмертное воздаяние и справедливость.

И раб свободен от владыки.  
На что мне жизнь, на что мне свет?  
Как знойным полднем изнуренный,  
Тоскуя, тени ждет работник утомленный,  
Я смерти жду, — а смерти нет.  
О, если б на меня простер Ты, Боже, руку  
И больше страхом не томил, —  
Чтоб кончить сразу жизнь и муку,  
Одним ударом поразил.

Очень близкое к тексту переложение, скорее почти перевод текста из Священного Писания.

Подобную же попытку перевести Библию стихами мы находим в его стихотворении «Иеремия»:

О, дайте мне родник, родник воды живой!  
Я плакал бы весь день, всю ночь в тоске немой  
Слезами жгучими о гибнущем народе.  
О, дайте мне приют, приют в степи глухой!  
Покинул бы навек я край земли родной,

Ушел бы от людей скитаться на свободе.

Это почти дословно по Библии.

Почему Иеремия говорит так горько? Дело в том, что Господь призвал юного Иеремию на пророческое служение и послал его в Иерусалим, чтобы он провозгласил гибель города и трагедию народа, потому что правда Божия торжествует и возмездие неизбежно. А Иеремия не хотел этого делать. Ему было горько произносить эти слова, но огонь Божий горел в его сердце, и он должен был говорить — против своего желания. Это уникальное явление — двуединство пророческого сознания — и проявилось в деятельности пророка Иеремии.

Зачем меня, Господь, на подвиг Ты увлек?  
Открою лишь уста, в устах моих — упрек...  
Но ненавистен Бог служителям кумира!  
Устал я проклинать насилье и порок;  
И что им истина, и что для них пророк!  
От сна не пробудить царей и сильных мира...  
И я хотел забыть, забыть в чужих краях  
Народ мой, гибнущий в позоре и в цепях,  
Но я не смог уйти — вернулся я в неволю.  
Огонь — в моей груди, огонь — в моих костях...  
И как мне удержать проклятье на устах?  
Оно сожжет меня, но вырвется на волю!..

Когда вы будете читать любую библейскую пророческую книгу, вы увидите эту великую драму и трагедию пророков, которые находились в конфликте с самими собой.

Приятно говорить радостные вещи народу, людям, но каково было человеку, которого обвинили в предательстве! Во время вражеской осады Бог повелел Иеремии идти и провозгласить необходимость капитуляции города, иначе он погибнет. Пророк был арестован, выставлен в колодках как предатель народа, потом брошен в яму, откуда его спас один добрый царедворец; и он стал свидетелем того, как враг ворвался в город, сжег храм и пленил царя. И последний момент драмы — когда завоеватели вывели Иеремию из тюрьмы (поскольку он был как бы на их стороне), и пророк оказался теперь не только в роли предателя, но и в роли коллаборанта. В этом стихотворении драма Иеремии передана особенно сильно.

Теперь я хочу остановиться на творчестве Максимилиана Волошина.

Первые его стихотворения, написанные до войны и до революции, содержат очень много библейских мотивов. Волошин жил библейскими образами, они просачивались у него повсюду. Выученик французских поэтов, много скитавшийся по Западу, он в то же время в свою душу, огромную душу человека-мыслителя (Волошин был не столько поэт, сколько мудрец), впитал и Библию, которую он читал очень часто.

Его вдова рассказывала мне, как он обращался к слову Евангелия, как легко это слово передавалось им в кругу людей, я бы сказал, довольно легкомысленных, которые в Коктебеле толклись в его доме. И на рубеже революционных лет он видел в библейских образах предвестие грядущей катастрофы.

В следующий раз я прочитаю вам стихи, написанные во время революции. Ни один русский поэт не поднялся до такой ступени проникновения в события, как Максимилиан Волошин. Иллюзии, в которых захлебывался Андрей Белый, писавший поэму «Христос воскрес», чувства, которые владели Блоком, «слушавшим музыку революции» и написавшим «Двенадцать», историко-научно-поэтические размышления Брюсова — все это не идет ни в какое сравнение с огромным, уникальным для России и для всего мира историческим охватом, который был свойствен творчеству и мысли Максимилиана Волошина. И Библия здесь давала ему огромный материал.

В апокалиптических образах он воспринял и цивилизацию XX в., и мировую войну, а затем революцию и гражданскую войну, в которой он занял удивительную позицию. Я думаю, вы все знаете, какую позицию занял Максимилиан Волошин: «Молюсь за тех и за других». Вдова показывала мне место, куда она прятала — за картину — то красных, то белых. И это было не

приспособленчество, нет, и не равнодушное стояние над схваткой, а это было глубинное понимание всечеловеческих процессов, которые происходили здесь, роковых процессов столкновения добра и зла. Поистине нужна была настоящая мудрость, чтобы это понять. Во время Первой мировой войны Волошин пишет стихотворение о Страшном суде. Оно вошло потом в его цикл «Путями Каина», цикл, уникальный в мировой литературе. Я не берусь оценивать художественную сторону произведений Волошина. Я не литературовед и не эстет. Меня интересует духовное содержание, смысл и суть произведений. Меня всегда несколько удручают поэты, которые знают, как сказать, которые владеют формой, но у которых нет мысли, нет духа, нет тех сокровищ, которыми поэт делится с нами, как это делали Ломоносов и Пушкин. А у Волошина всегда есть что сказать.

Изобразить Страшный суд, написать икону Страшного суда (не надо думать, что это реалистическое изображение) может только очень смелый поэт и человек. Я думаю, не все знают это маленькое стихотворение, поэтому я его прочту:

1

Праху — прах. Я стал давно землей:  
Мною  
Цвели растенья, мной светило солнце.  
Все, что было плотью,  
Развеялось, как радужная пыль —  
Живая, безыманная.  
И Океан времен  
Катил прибой столетий.

2

Вдруг

Призыв Архангела,  
Насквозь сверкающий  
Кругами медных звуков,  
Потряс Вселенную;  
И вспомнил себя  
Я каждой частицей,  
Рассеянную в мире.

3

В трубном вихре плотью  
Истлевшие цвели в могилах кости.  
В земных утробах  
Зашевелилась жизнь.  
И травы вяли,  
Сохли деревья,  
Лучи темнели, холодело солнце.

4

Настало  
Великое молчанье.  
В шафранном  
И тусклом сумраке земля лежала  
Разверстым кладбищем.  
Как бурые нарывы,  
Могильники вздувались, расседались,  
Обнажая  
Побеги бледной плоти: пясти  
Ростками тонких пальцев  
Тянулись из земли,  
Ладони розовели,  
Стебли рук и ног  
С усиьем прорастали,



Вставали торсы, мускулы вздувались,  
И быстро подымалась  
Живая нива плоти,  
Волнуясь и шурша.

5

Когда же темным клубнем  
В комках земли и спутанных волос  
Раскрылась голова  
И мертвые разверзлись очи — небо  
Разодралось, как занавес,  
Иссякло время,  
Пространство сморщилось  
И перестало быть...

6

И каждый  
Внутри себя увидел солнце  
В зверином круге...

7

.....И сам себя судил.

Только на древних фресках в храмах, на западной стене, где изображается Страшный суд, мы находим такие образы. Волошин вдохновлялся ими. Он также вдохновлялся строками из пророка Иезекииля, который увидел поле, покрытое костями. Это церковь, повергнутая во прах. Вот по полю пронесется ветер Духа Божия, и поднимаются тела, и воскресают все. Все христианство построено на принципе Воскресения. Камень, который завалил гроб Христов, упал для того, чтобы все видели: Его здесь нет! И с тех пор христианство постоянно хоронится, постоянно погребается, иной раз на эти гробницы ставят свою печать различные власти; но сломаны печати, открыта гробница, и снова раздается голос: «Что вы ищете Живого среди мертвых? Он восстал, Его здесь нет». Таков Господь, таково и христианство.

И в заключение несколько слов о дореволюционном Иване Бунине. Это был человек не символистского склада, как Максимилиан Волошин, это был реалист, созерцатель природы, и через природу, через свежий ветер и теплоту камней увидел он Священное Писание. Он путешествовал по Востоку, был в Египте, в Сирии, в Малой Азии; был в Иерусалиме и прошел по всем местам, где жила Дева Мария и жил Христос. Он описал это в своей книге «Храм солнца», которая вышла в 1917 г.

Бунин пишет, как всегда, очень осязаемо. Вот он идет по Назарету... «Назарет — детство Его. Там, в тишине и безвестности, протекало оно, такое человеческое, такое земное. Там огорчали и радовали Его игры со сверстниками, там ласковая рука Матери чинила Его детскую рубашечку, там таинственно нисходила в Его душу недетская мудрость, и ясное галилейское небо отражалось в очах, задумчиво устремленных в синь зеленых долин Эздрелона, на лилии полевые и птиц небесных. Ветхие пергаменты Назарета остались во всей своей древней простоте. Но скудны и чуть видны письма, уцелевшие на них! И великую грусть и нежность оставляет в сердце Назарет. Помню темные весенние сумерки, черных коз, бегущих по каменистым улочкам, тот первобытно-грубый каменный водоем, к которому когда-то приходила Она, помню Ее жилище: маленькое, тесное, пещерное, полное вечерней тьмы, пустующее уже две тысячи лет... Как полевой цветок, мало кому ведомый, выросший из случайно занесенного ветром семени в углу покинутого дома, расцвела и здесь легенда, может быть, самая прекрасная, самая трогательная: без огня, по бедности родителей, засыпал божественный Младенец; Мать сидела у Его постельки, тихо заговаривая, убаюкивая Его, а чтобы не было скучно и жутко Ему в наступающей ночи, светящиеся мушки по очереди прилетали радовать Его своим зеленым огоньком...

А страна Геннисаретская, где прошла вся молодость Его, все годы благовествования, все те дни, незабвенные до скончания века, для них же и был Он в мире, — она и совсем не сохранила

зримых следов Его. Но нет страны прелестнее, и нигде так не чувствуется Он!

Как над всей Святой землей, почует и над нею великое запустение. Многолюдные города и селения, все многообразие древней галилейской жизни, а среди этого многолюдства — Он, юный, неустанный, вдохновенный, окруженный любимыми, — вот что оставляют в воображении Евангелия, история».

Ивану Алексеевичу Бунину хотелось и в стихах передать свое впечатление о Галилее, о Иерусалиме, о детстве Христа. Он пишет поэму «На пути из Назарета», где все простое, все земное, все человеческое, но через эту земную простоту, как в «Песни Песней», светится бессмертное и божественное. Вот несколько строк оттуда:

Поклонялся я, Мария,  
Красоте Твоей небесной  
В странах франков, в их капеллах,  
Полных золота, огней,  
В полумраке величавом  
Древних рыцарских соборов,  
В полумгле стоцветных окон  
Сакристий и алтарей.

Там, под плитами, почивают  
Короли, святые, папы, —  
Имена их полустерты  
И в забвении дела.  
Там Твой Сын, главой поникший,  
Темный ликом, в муках крестных.  
Ты же — в юности нетленной:  
Ты, и скорбная, светла.

Золотой венец и ризы  
Белоснежные — я всюду  
Их встречал с восторгом тайным:  
При дорогах, на полях,  
Над бурунами морскими,  
В шуме волн и криках чаек,  
В темных каменных пещерах  
И на старых кораблях.

Корабли во мраке, в бурях  
Лишь Тобой одной хранимы.  
Ты — Звезда морей\*: со скрипом  
Зарываясь в пене их  
И огни свои качая,  
Мачты стойко держат парус,  
Ибо кормчему незримо  
Светит свет очей Твоих.

(\* Звезда морей (Stella maris) – один из традиционных поэтических эпитетов Пресвятой Девы Марии. – *Ред.*)

Над безумием бурунов  
В ясный день, в дыму прибоа,  
Ты цветешь цветами радуг.  
Ночью, в черных пастях гор,  
Озаренная лампадой,  
Ты, как лилия, белеешь,  
Благодатно и смиренно  
Преклонив на четки взор.

И к стопам Твоим пречистым,  
На алтарь Твой в бедной нише  
При дорогах меж садами,  
Всяк свой дар, приносим мы:

Сирота-служанка — ленту,  
Обрученная — свой перстень,  
Мать — свои святые слезы  
Запояр — свои псалмы.

Человечество не помнит,  
Как творит оно легенды,  
Как им спета Песня Песней —  
Отчего возведена  
На престолы горней славы,  
Красоты неизреченной  
Позабитая, простая  
Галилейская жена.

Человечество, венчая  
Властью божеской тиранов,  
Обагрив руки кровью  
В жажде злата и раба,  
И само еще не знает,  
Что оно иного жаждет,  
Что еще раз к Назарету  
Приведет его судьба!

Содрогался я от счастья  
У святых его преддверий:  
О, Мария, сладко сердцу  
Вспоминать и понимать,  
Что, блуждая, все мы ищем  
Преклониться пред любовью,  
Галилейской нищетою  
И сладчайшим словом: Мать.  
Это Мать послала Сына:

— Дай им мир и радость в мире.  
Встань, иди. Скажи, как нежно  
Я люблю свое дитя,  
Как устал, как добр Иосиф,  
Как он ноющей, дрожащей  
Оттирает пот рукою,  
Улыбаясь и шутя.

— Расскажи о Назарете,  
О простом и бедном быте,  
О колодце, где я мыла  
Твой заплатанный хитон,  
И о том, что, если будешь  
Ты хотя владыкой мира,  
Багряницы и виссона  
Будет мне дороже он.

Вот так история, философия, размышления, путешествия — все сливается здесь в едином созерцании библейской тайны, которая выражена в великих словах апостола Иоанна: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины».